

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

РЗ4192



И ВОДОВОЗОВ

**ГОГОЛЬ**

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1945



ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

Проф. Н. ВОДОВОЗОВ

**НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
ГОГОЛЬ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦЕ ВЛКСМ  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1946

## СОДЕРЖАНИЕ

На Украине . . . . .	3
На литературной арене . . . . .	19
В расцвете творчества . . . . .	38
За рубежом . . . . .	47
Опять на родине . . . . .	57
Скитания . . . . .	66
«Мертвые души» . . . . .	73
Новая книга Гоголя . . . . .	84
Конец жизни . . . . .	100
Летопись жизни Н. В. Гоголя . . . . .	119
Библиография . . . . .	120

Редактор В. С я ф о н о в

---

Подписано к печати 25/1 1945 г. А 4731 3<sup>я</sup> печ. л. 44000 зн. в печ. л.  
3,9 уч.-изд. л. Тираж 50 000. Цена 2 руб.

## НА УКРАИНЕ

Когда польский король Ян Собесский наголову разбил отборное турецкое войско под стенами Вены, вместе с ним сражался отряд украинских казаков под начальством могилевского полковника Евстафия (Остапа) Гоголя. Король-полководец высоко оценил помощь храброго полковника и наградил его дарственной грамотой на село Ольховец.

Любопытный и характерный факт—эта помощь украинских казаков во главе с Гоголем Яну Собесскому. Это был король, не любимый шляхтой, но популярный среди простого народа за свою политику, выразившуюся в заключении вечного мира между Польшей и Москвой в 1686 году.

Передовые люди понимали и тогда необходимость славянского единства перед лицом общих врагов.

Внук Остапа Гоголя, Ян Гоголь, поселился

в городе Лубны, где занял место священника Троицкой церкви. Его сын Демьян, учившийся в Киевской академии, принял по отцу фамилию Яновский, что было делом обыкновенным в духовных училищах того времени. Старший сын Демьяна, Афанасий, уже писался Гоголем-Яновским, а внук Василий был известен соседям просто как Яновский. Так что его сыну Николаю, нашему великому писателю, пришлось потом доказывать, что настоящая его фамилия Гоголь, а Яновский — приставка.

Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, отец писателя, был человеком весьма одаренным. Он много писал стихов и комедий на русском и украинском языках. Почти ничего из написанного им до нас не дошло. Но из того, что уцелело, видно, что он обладал живым чувством юмора и не был чужд романтической мечтательности и сентиментальности, широко распространенных в русском обществе конца XVIII века. Вот, например, одно из его стихотворений в этом роде, написанное на русском языке:

Одной природой наслаждаюсь,  
Ничьим богатством не прельщаюсь,  
Доволен я моей судьбой —  
Таков девиз любимый мой.

Благодаря приветливости Василия Афанасьевича, его уму и замечательному дару рассказчика село Васильевка, где он жил, сделалось притягательным центром для близких и дальних соседей.



Имение Гоголей-Яновских.

В 1812 году, во время Отечественной войны против Наполеона, Василий Афанасьевич принимал участие во всеобщем земском ополчении и, как человек, известный своей честностью, заведывал собранными для ополчения суммами.

Женился Василий Афанасьевич в 1805 году на Марии Ивановне Косыровской. Его невесте в то время было четырнадцать лет отроду, а ему ровно в два раза больше: двадцать восемь.

В 1809 году, 1 апреля по новому стилю, у Гоголей-Яновских, живших дружно и хорошо, родился сын Николай, будущий великий русский патриот и писатель. За несколько дней до рождения сына Мария Ивановна переехала из Васильевки в Сорочинцы, где в то время жил известный врач Трофимовский, имевший у себя нечто вроде частной лечебницы для больных и рожениц. В Сорочинцах до последнего времени сохранился дом, где впервые увидел свет великий писатель. Ребенок родился слабым и худеньким. Первое время опасались за его жизнь, тем более, что до него у Марии Ивановны уже было двое детей, проживших всего по несколько дней. После Николая у Гоголей-Яновских родился еще сын, Иван, и четыре дочери. Семья была большая, а средств к существованию не так уж много. По счастью, им помогал дальний родственник Марии Ивановны, богатый помещик Д. П. Трощинский.



живший неподалеку в своем имении Кибинцы.

Гоголи-Яновские часто гостили в Кибинцах, где всегда толпилось множество всякого народа, развлекавшего знатного барича. Рассказывают, что однажды в Кибинцы заехал случайно один проезжий артиллерийский офицер и устроил в честь хозяина великолепный фейерверк. Это так понравилось, что офицера обласкали, оставили погостить, да и прожил он так в Кибинцах три года, забыв про свою службу и про то, куда ехал.

В Кибинцах был устроен постоянный театр из крепостных слуг Трощинского. Но нередко и гости принимали участие в постановках. На сцене этого театра ставились пьесы, написанные Василием Афанасьевичем, а роли в них исполняли, к великому удовольствию хозяина, сам Василий Афанасьевич, его жена Мария Ивановна и сын Николай, когда он подрос настолько, что мог играть на сцене.

Жизнь в Кибинцах текла весело и привольно. По словам Марии Ивановны, «целой стопы бумаги было бы мало для описания всего, сколько там было разнообразных удовольствий, какие были замысловатые маскарады две недели праздников о рождестве христове и в разное время представления в зале разных родов. Каждый день были балы после театра. Мы с мужем моим, которого Трощинский очень любил, жили безвыездно у него; нельзя было проситься домой: в последнее время сердился до болезни, когда узнавал о

помышлении нашем ехать домой, и гостям трудно было уезжать, чтобы его не тревожить; и когда начиналось провожание гостей, то старик бывал очень не в духе; и не надолго оставалось в доме без больших собраний, — скоро опять съезжались. В эти промежутки двери амфилады отворялись, играла музыка, иногда целый оркестр, иногда квартеты. Разыгрывали из Бетховена и Моцарта и прочих тогда бывших в славе музыкантов».

Таким образом, Кибинцы были, правда, очень своеобразным, культурным центром в провинциальной глуши, где протекало детство будущего писателя. Театр, музыка, богатая библиотека Трощинского, которой мог пользоваться маленький Гоголь, шумное общество, в котором на мальчика почти не обращали внимания, но которое само давало мальчику замечательный материал для наблюдений, помогли ему рано узнать различных людей и научили понимать сложную иерархию общественных отношений того времени.

В 1818 году Василий Афанасьевич отвез своих обоих сыновей, Николая и Ивана, в Полтаву, где они должны были учиться в гимназии. Оставшись в незнакомом городе, среди новых людей, мальчики особенно крепко сдружились. Поэтому, когда через год умер младший брат Ваня, старший затосковал так сильно, что его пришлось увезти из Полтавы. Эту нежную дружбу братьев Гоголь воспел

потом в трогательном стихотворении, называвшемся «Две рыбки».

Как раз в это время в городе Нежине открылась «гимназия высших наук» князя Безбородко, и Василий Афанасьевич решил отдать своего сына туда. Правда, плата за ученье в этой гимназии была слишком велика для небогатых родителей Гоголя — тысяча рублей в год. Поэтому Василий Афанасьевич стал хлопотать о бесплатном обучении сына. Не обошлось без помощи Трошинского, по просьбе которого Безбородко приказал: «Состоящего ныне в гимназии высших наук пансионером Гогольяновского, сына господина коллежского асессора Гогольяновского, включить в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении». В общем списке всех пансионеров время поступления Гоголя на казенное содержание указано 1 июля 1822 года. Таким образом, со второго года пребывания в нежинской гимназии и до окончания ее в 1828 году Гоголь учился бесплатно.

В гимназии получили первое серьезное развитие литературные интересы Гоголя. Он очень много читает. Гимназической библиотеки ему кажется мало. Он постоянно просит отца присылать книжные новинки. «Вы писали, — пишет он отцу в октябре 1824 года, — про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онегина», то прошу вас, нельзя ли мне их прислать? Еще нет ли у вас каких-

нибудь стихов? То и те пришлите». Интерес к творчеству Пушкина, возникший у Гоголя так рано, не прекращался потом уже всю его жизнь.

Чтение не проходило для Гоголя бесследно. Наиболее понравившиеся произведения он тщательно переписывал в особую тетрадку, сделанную им самим из лучшей бумаги, и снабжал их собственными рисунками. Так были им переписаны поэмы Пушкина: «Цыганы», «Полтава» и главы «Евгения Онегина».

Вскоре у Гоголя появилось желание самому сочинять стихи.

Он был впечатлительный и на редкость наблюдательный мальчик, умевший буквально на лету схватывать характерные особенности окружающих его людей, товарищей по гимназии.

В день именин одного гимназиста, Спиридонова, прозванного Гоголем расстригой и дервишем за неопрятную внешность, в гимназическом зале появился транспарант с изображением чорта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,  
Пугалище лервишей всех,  
Из-к монастыря строптивый,  
Расстрига, сотворивший грех.  
И за сие-то преступленье  
Достиг он титул сей.  
О, чтец! Имей терпенье,  
Начальные слова в устах запечатлей.

Эта шутка Гоголя имела шумный успех у гимназистов. Все перечитывали стихотворение, следя за тем, как из первых букв каждой строки образуется имя Спиридон.

Худенький, застенчивый подросток, Гоголь уже тогда сознавал свои замечательные способности. Он знал, что обладает даром подмечать в людях те их слабости, которые обычно ускользают от внимания окружающих. Он сам говорил, что может угадать человека, то есть угадать, что сделает этот человек в том или другом случае. При этом Гоголь умел верно воспроизвести не только склад речи такого человека, но и самый строй его мысли.

Проходили годы. Подросток Гоголь превращался в юношу.

В марте 1825 года ему пришлось перенести первое большое горе: умер его отец. Шестнадцатилетний юноша оказался старшим в семье. Теперь уж ему надо было серьезно задуматься о будущем. Какую дорогу в жизни избрать? После смерти отца мать и четыре сестры остались с очень скудными средствами к существованию.

В декабре 1825 года произошло событие, которое потрясло всю Россию и должно было оставить сильнейший след в уме и сердце Гоголя: в Петербурге разразилось восстание декабристов. Великий русский народ, только что освободивший Европу от наполеоновской тирании, не хотел сам оставаться под гнетом крепостнического самодержавного режима.

Знамя революции подняли на первых порах революционеры из дворян — декабристы. Это были первенцы нашей свободы. Восстание было расстреляно пушками Николая I на Сенатской площади. Объясняя причину неудачи декабристов, В. И. Ленин писал: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало»<sup>1</sup>.

Вслед за восстанием в Петербурге произошло восстание Черниговского полка на Украине, подавленное в начале января 1826 года. Это уже было совсем близко от Нежина. Понятно, что события, волновавшие всю Россию, не могли не затронуть «гимназии высших наук» князя Безбородко. Среди ее профессуры образовалось два лагеря: прогрессивный и консервативный. Ученики почти все примкнули к первому. Во главе прогрессистов стал инспектор гимназии Белоусов, во главе консерваторов — малообразованный и ограниченный службист Билевич.

Кому сочувствовал Гоголь, видно из его письма к матери, написанного в 1826 году, когда борьба между враждебными лагерями шла с наибольшей силой. «Директора у нас нет, — писал Гоголь, — и желательно, чтоб совсем не было. Пансион наш теперь на самой лучшей степени образования, до какой Орлай (бывший директор. — Н. В.) никогда

---

<sup>1</sup> Ленин, Соч., т. XV, стр. 468, изд. 3-е.

не мог достигнуть: и этому всему причина наш нынешний инспектор (Белоусов. — Н. В.)... Советуйте всем везти сюда детей своих: во всей России они не найдут лучшего».

В 1826/27 учебном году Белоусов начал читать в гимназии курс естественного права. С большим искусством он знакомил своих учеников с историей; самые трудные, отвлеченные вопросы философии излагал так, что они делались понятными и увлекательными. Белоусова любили в гимназии: он был справедлив, всегда готов помочь добрым советом, внимателен ко всем ученикам.

Билевич и его лагерь косо смотрели на эту все возраставшую близость между талантливым педагогом и его учениками. В мае 1827 года Билевич написал донос: «Я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждений в основаниях права естественного, которое хотя и предписано преподавать здесь по системе г-на Демартина, но г-н младший профессор Белоусов проходит оное естественное право по своим запискам... для чего покорнейше прошу конференцию гимназии — первое — подтвердить г. мл. профессору юридических наук Белоусову, дабы он непременно руководствовался систематическою книгою г. Демартина в преподавании права естественного, как предписано руководствовать; второе — подтвер-

дить ему же, Белоусову, как инспектору над воспитанниками, а равно и гг. надзирателям и нравонаблюдателям, дабы они имели неослабное смотрение за нравственным поведением воспитанников гимназии вообще».

Билевич правильно рассчитал действие своего рапорта. Правительство Николая I (навсегда запомнившего события 14 декабря на Сенатской площади) более всего боялось крамолы в воспитательных учебных заведениях. Немедленно началось дело о неблагонамеренном преподавании естественного права и вольнодумстве профессора Белоусова. К делу пристегнули заодно и других прогрессивных педагогов. Допрашивали гимназистов; по начальству полетели докладные записки. Кончилось удалением из гимназии всех лучших преподавателей.

Этот разгром был тяжело воспринят Гоголем. В конце 1827 года он написал матери: «У нас в Нежине так скучно стало, что не знаешь, куда деться. Сидишь целый день за книгой да зеваешь так жалко, что уши вянут. Теперь мне последний год, и тот уже ущербился, дела, однакож, почти нет. Прошлый только год мне был самый крепкий; никогда его не забуду: было над чем трудиться».

Юноши, которым уже были привиты серьезные интересы и вкус к науке и литературе, примириться с таким положением не могли. Образовавшуюся пустоту гимназисты пытались, как могли, заполнить сами. Устроили



литературный кружок, стали издавать рукописный журнал<sup>1</sup>.

В литературном кружке Гоголь читал первое свое произведение в прозе — «Братья Твердиславичи, славянская повесть». Интересно отметить обращение Гоголя к славянской истории уже в это время. Оно, конечно, не случайно. Вспомним, что наиболее радикальное и демократическое крыло в Южном обществе декабристов называлось «Обществом соединенных славян» и стремилось к созданию федеративной республики всех славянских племен, которые предстояло предварительно освободить от иноземного рабства. Таким образом, задача освобождения русского народа от крепостной неволи сливалась с задачей национального освобождения всех славян. Позднее мы увидим, что интерес Гоголя к славянскому вопросу останется у него на всю жизнь.

Первый литературный опыт Гоголя, повидимому, был не очень удачен, или критики были слишком строги. Во всяком случае, один из товарищей Гоголя сказал ему после чтения повести:

— В стихах упражняйся, а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно.

Вместо ответа Гоголь спокойно разорвал

<sup>1</sup> В будущем из этой гимназии вышли, помимо Гоголя, писатели Гребенка и Кукольник, а также выдающийся ученый, профессор П. Г. Редькин.

свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь.

Гоголь охотно слушал самые суровые отзывы о своих произведениях, и не только не обижался, но всегда был готов согласиться с ними, если чувствовал их справедливость. Но он не был рабом чужих мнений и верил в свои силы. После первого опыта он пишет новое произведение: «Нечто о городе Нежине, или дуракам закон не писан», в котором изобразил многих именитых жителей города, не раз посещавших гимназический театр.

Одновременно он написал романтическую трагедию «Разбойники» (под сильным влиянием Шиллера) и героическую поэму «Россия под игом татар». Поэму он читал своему знакомому А. Стороженко летом 1827 года, то есть за год до окончания гимназии, когда уже серьезно стал думать о своем литературном призвании. С нетерпением ждал Гоголь, что скажет его слушатель. Стороженко, выслушав взволнованное чтение автора, со снисходительным видом сказал:

— Охота вам писать стихи! Что, вы хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше прозой.

— Пишут не потому, — ответил Гоголь, — чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет излиться ощущениями.

И, помолчав немного, добавил фразу, видимо не раз приходившую ему в голову: «Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом!»

Любовь Гоголя к литературе была хорошо известна его товарищам по гимназии. Поэтому, когда у гимназистов составила из выписываемых журналов и книг своя довольно большая библиотека, Гоголь единогласно был выбран ее хранителем. Новый библиотекарь оказался очень строгим. Он так любил книги, что придумал даже особое средство для того, чтобы сохранять их чистоту и опрятный внешний вид — бумажные наконечники для пальцев, и требовал, чтобы их надевали все, берясь за библиотечные книги.

Вопрос о будущей деятельности жгуче волновал Гоголя. Больше всего он хотел быть писателем. Но под влиянием Белоусова ему казалась очень заманчивой также государственная служба, на которой он мог бы принести пользу родине. В конце 1827 года он пишет юношески пламенное и торжественное письмо своему дяде П. П. Косяровскому: «Еще с самых времен прошлых, с малых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел. принести хотя малейшую пользу... Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном—на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце.

Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных — как основных для всех — законов; теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокие мои начертания? Или неизвестность зарует их в мрачной туче своей? В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да кому бы я поверил и для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных...»

Летом 1828 года Гоголь окончил нежинскую гимназию. Он получил аттестат:

«Николай Гоголь-Яновский, коллежского асессора Василия Афанасьевича сын, поступивший 1 мая 1821 года в гимназию высших наук кн. Безбородко, окончил в оной полный курс учения в июне месяце 1828 года, при поведении очень хорошем, с следующими в науках успехами: в законе божьем с очень хорошими, в нравственной философии с очень хорошими, в логике с очень хорошими, в правах: римском с очень хорошими, в российском гражданском с очень хорошими, в уго-

ловном с очень хорошими, в государственном хозяйстве с очень хорошими, в чистой математике с средственнымими, в физике и началах химии с хорошими, в естественной истории с превосходными, в технологии, в военных науках с очень хорошими, в географии всеобщей и российской с хорошими, в истории всеобщей с очень хорошими, в языках: латинском с хорошими, в немецком с превосходными, в французском с очень хорошими, в греческом (нет отметки)».

### ***НА ЛИТЕРАТУРНОЙ АРЕНЕ***

С аттестатом в кармане и с широкими планами в голове Гоголь отправился в Петербург.

Но мечты о благородной деятельности для блага родины потускнели, как только Гоголь присмотрелся к «государственной службе» петербургских чиновников. В письме к матери он так описывает свои впечатления от Петербурга того времени: «Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе; все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».

Пополнить собою ряды этих мелких, ничтожных людей Гоголь не хочет. У него еще остается одна возможность: литературная деятельность, благородный путь, на котором

он встретится и будет идти вместе с великим Пушкиным!

Об этой встрече он мечтал еще в Нежине. Теперь это так легко осуществить: квартира Пушкина находится недалеко от дома, где поселился Гоголь. И Гоголь немедленно отправился к великому поэту. Он нес с собою большую поэму в стихах, называвшуюся «Ганц Кюхельгартен», которую решил показать прямо Пушкину. В образе Ганца Гоголь изобразил романтически настроенного юношу, — отчасти это был свой собственный портрет, отчасти — пушкинский Владимир Ленский (из «Евгения Онегина»), отчасти — поэт Кюхельбекер, пушкинский друг; Кюхельбекера Гоголь знал по стихам и статьям о романтизме, печатавшимся в журналах того времени.

Поэма была неудачной, а Пушкина в тот раз Гоголю повидать не пришлось.

Впрочем, нужно сказать, что Гоголь проницательно угадал в Кюхельбекере распространенный тогда в русском обществе тип мечтателя, тоскующего по высокому идеалу: недаром он дал своему герою фамилию, созвучную фамилии поэта.

Если Гоголь что-нибудь задумывал, он доводил это до конца. Отдать поэму на суд Пушкину не удалось, — что ж, Гоголь решил печатать «Ганца Кюхельгартена» на свой счет и риск. Правда, он не отважился подписать поэму своим настоящим именем, а выпустил

ее под псевдонимом В. Алова и сопроводил предисловием: «Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельство, важное для одного только автора, не побудило его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствах, ни о недостатках его и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

По всему этому мы видим, что Гоголь сознавал слабость и незрелость своего произведения. Но он страстно желал проверить, есть ли у него поэтическое дарование. Суд читателей должен был показать это. Внутренняя борьба и сомнения юноши отразились и в самом предисловии: смело объявляя о появлении «юного таланта», он в то же время отлично понимает, что характер мечтательного романтика получился в поэме довольно бледным, — отсюда намеки на какие-то якобы утраченные части поэмы.

Отзыв критики был уничтожающим. Журнал «Московский телеграф» писал: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но

что важные для одного автора причины побудили его пересмотреть свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость;  
Но демона отрекся я,  
И остальная жизнь моя —  
Заплата малая моя  
За остальную жизни повесть.

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Это было как удар бичом по лицу. Стало нестерпимо больно, обидно и стыдно. А за первым ударом последовал второй. В «Северной пчеле» была опубликована еще более грубая насмешка над автором и его произведением. Тогда Гоголь вне себя кинулся к книгопродавцу. Продана ли, разошлась ли уже его поэма? Книгопродавец ответил отрицательно. Юноша собрал все экземпляры, все, что имелось в лавке, и дома уничтожил их.

Он был близок к отчаянью. Все пути, казалось, были закрыты для него. Всегда нервный и впечатлительный, Гоголь решил, что все надежды его, с которыми он приехал в Петербург, рушились и ему остается одно—бежать, куда глаза глядят.

В это время он получил некоторую сумму денег от матери. И вместо того, чтобы уплатить проценты по заложенному имению (на



что предназначала деньги мать), Гоголь внезапно уехал за границу, послав матери письмо с фантастическим объяснением своего поступка. Он писал, что безнадежная любовь к какой-то отвергнувшей его красавице заставила его решиться на такой малодушный шаг. «Маменька! — с отчаяньем восклицает он. — Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние!.. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень покоя в истерзанную душу...»

Он писал о «красавице», но ему казалось, что это сама родина отвергла его и все его планы послужить родному народу.

Пароход привез Гоголя в Любек. Он бесцельно бродил по чужим улицам, слушал чужую речь. Два дня он провел в Травемюнде, близ Любека. И тут он вдруг понял, что «укрыться от себя» (по его собственному выражению) на краю света, где все будет чужое, где ничто и никто не напомнит ему (как он надеялся) о случившемся, для него невозможно. Он ощутил, что вне России для него жизни нет. И тут же, сразу, он купил обратный билет и вернулся в Петербург. Так кончилось «бегство» Гоголя.

Но теперь ему надо подумать о том, как

отработать взятые деньги. Имение заложено. Если не внести во-время проценты, оно будет продано. Гоголь лихорадочно ищет заработка. Он решает поступить в актеры.

В одно туманное петербургское утро к директору Александринского театра князю Гагарину явился молодой человек и попросил секретаря доложить о себе. Секретарь, оглядев с ног до головы фигуру просителя, одетого хотя и бедно, но вполне прилично, осведомился о его имени.

— Гоголь-Яновский, — скромно, почти робко ответил проситель.

— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?

— Да, я желаю поступить в театр.

Секретарь попросил Гоголя подождать, так как князь еще одевался. Гоголь сел у окна, облокотился на него рукой и стал смотреть на Неву. Через полчаса он спросил:

— А скоро ли могу я видеть князя?

— Полагаю, что скоро, — ответил секретарь, удивляясь, что проситель позволяет себе быть нетерпеливым.

Гоголь замолчал и, глядя на Неву, стал барабанить пальцами по стеклу. Он едва сдерживал желание встать и уйти из этого дома, где просителя заставляют выпить всю чашу унижения таким подчеркнуто вежливым, безразличным отношением.

Наконец князь оделся, и Гоголя провели к нему в кабинет.

— Что вам угодно? — спросил директор театра.

— Я желал бы поступить на сцену и просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы.

— Ваша фамилия?

— Гоголь-Яновский.

— Из какого звания?

— Дворянин.

— Что же побуждает вас итти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.

— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня, мне кажется, что я не гожусь для нее, к тому же я чувствую призвание к театру.

— Играли вы когда-нибудь?

— Никогда, ваше сиятельство.

О своих выступлениях на гимназической сцене Гоголь предпочел умолчать.

Гагарин поморщился.

— Не думайте, — сказал он, — чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант.

— Может быть, во мне есть какой-нибудь талант, — скромно, но с достоинством ответил Гоголь.

— Может быть! На какие же амплуа думаете вы поступить?

— Я сам теперь этого еще хорошо не знаю, но полагал бы на драматические роли.

Директор с усмешкой посмотрел на тщедушного просителя, стоящего перед ним, и иронически произнес:

— Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ваше дело.

Гоголь был подвергнут предварительному испытанию. Ему дали прочесть монолог из «Димитрия Донского» и «Андромахи». Он читал просто, без всякой декламации, и так как не знал текста наизусть, то от волнения делал частые остановки. Его экзаминатор, инспектор труппы А. И. Храповицкий, воспитанный на совершенно другой манере чтения, когда актеры в драматических монологах завывали и отчаянно жестикулировали, был разочарован и доложил Гагарину, что Гоголь-Яновский после проверки «оказался совершенно не способным не только в трагедии или драме, но даже в комедии».

Так исчезла еще одна надежда Гоголя.

Как за последнюю соломинку, он ухватился за предложение Трощинского устроить его в департамент «государственного хозяйства и публичных зданий». Конечно, это было безгранично далеко от заветных мечтаний Гоголя «приносить пользу родине и всему человечеству», но прежде всего приходилось думать о куске хлеба. Впрочем, через короткое время он перешел в другой департамент, ведавший казенными имениями, где ему дали место помощника столоначальника. Его день складывался теперь таким образом: в 9 часов утра он отправлялся на службу и оставался там до 3 часов. Затем он обедал и к 5 часам

шел в Академию художеств, где занимался в классе живописи. Таким образом, он не оставил попыток пробить себе дорогу в искусстве; теперь он делал попытку стать художником-живописцем.

Целый год Гоголь прослужил чиновником в департаменте. Весь этот год он усердно учился в Академии художеств; в это же время он возобновил занятия литературой. Но на этот раз он уже не пишет сентиментальные поэмы в стихах, подобных «Ганцу Кюхельгартену». О том, чем он занят, мы узнаем из писем его к матери: он просит прислать ему «сведения о Малороссии».

И вот в февральской и мартовской книжках «Отечественных записок» за 1830 год напечатана первая повесть Гоголя «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», основанная на подлинном украинском фольклоре. Гоголь сам почувствовал, что теперь он выходит на настоящую дорогу. Больше его не смущает тяжесть его материального положения. Пусть платье его совершенно износилось, пусть ему не на что купить даже теплой шинели. «Я немного привык к морозу, — пишет он, — и отхватал всю зиму в летней шинели». Со всем этим он мирится, раз впереди открывается перед ним широкое поле литературной деятельности.

Он задумывает два романа: один бытовой — «Страшный кабан», другой исторический — «Гетьман». Отрывки из этих романов Гоголя

были напечатаны в сборнике «Северные цветы» и «Литературной газете». В обоих изданиях участвовали писатели, близкие к Пушкину; редактировал их Дельвиг, лицейский товарищ поэта. Таким образом Гоголь сразу же вступал в пушкинский кружок. Он познакомился наконец с Пушкиным, познакомился с Жуковским, с Плетневым. Плетнев устроил Гоголя на место учителя истории в Патриотическом институте, где сам был инспектором. Наконец-то Гоголь мог бросить тяготившую его службу в департаменте!

Окрыленный успехом, Гоголь пишет матери о перемене в его жизни: «Вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо сорока двух часов в неделю, я занимаюсь теперь шесть, между тем жалованье, даже немного более; вместо глупой, бестолковой работы, которой ничтожность я всегда ненавидел, занятия мои теперь составляют неизъяснимые для души удовольствия... Я теперь более, нежели когда-либо, тружусь и более, нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей груди величайшее». Он неутомимо работает. Всякий свободный час он отдает литературе. В это время он подготавливает к печати сборник уже написанных рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Этому сборнику суждено было поставить Гоголя в один ряд с лучшими русскими писателями.



Гоголь читает свои произведения Пушкину.  
Гравюра с картины художн. Клодта.

Летом 1831 года, когда сборник печатался, Гоголь был домашним учителем в доме княгини Васильчиковой в Павловске, близ Петербурга. От Павловска до Царского Села, где тогда жили Пушкин и Жуковский, было всего четыре километра, и Гоголь постоянно ходил туда пешком. «Почти каждый вечер, — рассказывает он, — собирались мы: Жуковский, Пушкин и я». Все три писателя работали тогда над материалом народных сказок. Гоголю были очень полезны беседы со старшими товарищами. Они помогали ему развивать художественный вкус; об их советах он с благодарностью вспоминал потом всю жизнь.

Однажды, когда Гоголь зашел в Петербурге в типографию, где печаталась его книга, он был поражен тем, как встретили его наборщики. Оказывается, вся типография с восторгом читала его книгу.

Узнав об этом, Пушкин поздравил Гоголя с «первым торжеством», какое может быть только у настоящего народного писателя.

В сентябре «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышли из печати. Имя Гоголя сразу стало известным. Пушкин напечатал в газете «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» письмо, в котором говорил: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия,



какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился».

После авторитетного заявления Пушкина никто уже не мог сомневаться, что в лице молодого Гоголя русская литература получила нового замечательного писателя. Для самого Гоголя одобрение великого поэта имело исключительное значение: он понял эту похвалу, как обязательство для себя быть достойным ее и, следовательно, работать, не щадя сил, над совершенствованием своих произведений.

В самом деле, второй том «Вечеров», вышедший в начале следующего, 1832 года, был еще зрелее в художественном отношении, чем первый.

Вскоре вокруг Гоголя образовался кружок друзей, относившихся с энтузиазмом к его литературной деятельности.

Гоголь опять переехал в Петербург. Он поселился на Малой Морской улице, в доме Лепена, во дворе, в двух небольших комнатках, куда надо было подниматься по темной лестнице, прежде чем попасть в маленькую переднюю. В этой квартире почти каждый вечер собирались почитатели таланта Гоголя. Хозяин сам разливал чай в небольшой спальне, которая одновременно служила и гостиной; из нее можно было видеть другую комнату — кабинет Гоголя: с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным

книгами, и письменным бюро, за которым Гоголь писал стоя.

Особенно торжественно праздновался в этой скромной квартире день 9 мая—именины Гоголя. Хозяин одевался тогда необыкновенно щеголеваго: в белый распашной сюртучок с высокой талией, повязывал яркий галстук, взбивал высоко над лбом кок волос и даже ходил, по замечанию одного из его знакомых, «совершенным петушком». Веселости Гоголя в это время не было границ; он острил и смешил своих гостей доупаду. Но сам всегда казался серьезным. Была в нем черта, которая поражала всех: он словно жадно впитывал в себя все впечатления окружавшей его жизни. То, что другим казалось иногда только забавным, в его уме и сердце вызывало глубокий, живой отклик. Однажды при нем рассказали канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике. Этот чиновник, страстный охотник за птицей, путем необычайной экономии и неутомимого, усиленного труда скопил сумму денег, необходимую для покупки хорошего лепажевского ружья. В первый раз, когда он поехал в маленькой лодочке по Финскому заливу на охоту, положив ружье на лодке перед собой, он размечтался до такой степени, что не заметил, как ружье, зацепившись за густой тростник, упало в воду. Чиновник воротился домой, слег и уже не вставал: он схватил горячку.

Выслушав этот рассказ, Гоголь не засмеялся,

как другие, а глубоко задумался. Историю бедного чиновника он помнил долгие годы. Через несколько лет он создал замечательный рассказ «Шинель».

Как истинный художник, Гоголь считал, что все в жизни может быть материалом для творчества. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, — говорил он, — тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии». Именно так писал он сам, и недаром позднее Белинский определял особенность его творчества следующим образом: «Совершенная истина жизни в повестях Гоголя тесно соединяется с простою вымысла... он верен жизни до последней степени».

Эта «верность жизни», как мы только что видели, не означала для Гоголя бесстрастного к ней отношения. Наоборот, он остро страдал от всяких уродливых ее проявлений, которые были неизбежны в условиях мрачной реакции николаевского царствования. Гоголь видел подкупность судей, невежество вельмож, подлость и взяточничество чиновников и хотел бороться с этими общественными язвами своим пером художника.

Теперь осуществлялась его мечта о том, чтобы приносить пользу родине.

Гоголь любил и всегда придавал большое значение театру. Не случайно он собирался стать актером. «Театр, — говорил он, — ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь,

если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».

И вот он задумал написать комедию. «Уже и сюжет было на-днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради; «Владимир 3-й степени», и сколько злости, смеху, соли!» Но тут Гоголь задумался: он увидел, что «перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играть? Драма живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела...»

Угроза тупой николаевской цензуры тяжелым камнем нависла над замыслом художника и задушила его еще не рожденное творение. Гоголь отказался от мысли написать комедию, в которой высказал бы со всей прямотой и резкостью свое отношение к существовавшему тогда в России режиму.

Он пишет повести: «Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В обеих повестях Гоголь показал быт обыкновенных «существователей», у которых нет никакой цели в жизни, чьи человеческие

чувства и страсти приняли карикатурный характер. Беспросветная пошлость, мелочность и скука делают из этих людей никому не нужных «небокоптителей», по выражению самого Гоголя.

Новые повести Гоголя, написанные с гениальной простотой и правдой, заставляли современников глубоко задуматься над причинами такой страшной, пустой жизни. Гоголь становился знаменем всего прогрессивного в стране и предметом лютой ненависти для крепостников и мракобесов.

От безрадостных картин николаевской действительности Гоголь невольно обращался к героическому прошлому родной страны.

Он создает величественную эпопею борьбы казачества с иноземными поработителями. Повесть «Тарас Бульба» может быть, по всей справедливости, названа поэмой любви к родине и ненависти к жестоким захватчикам. Гоголь с детства любил народные песни. И его эпопея приобрела характер величавой народной былины, рассказывающей о доблести и славе наших героических предков.

Широкой эпической кистью рисует Гоголь жизнь, овеянную пороховым дымом и славой бессмертных подвигов. Не зная страха, умирают казаки за отчизну. «Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья-товарищи! Пусть же стоит на вечные

времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие очи, и вынеслась казачья душа из сурового тела».

Образ самого Тараса Бульбы — это апофеоз народной силы и героизма. Бульба неразрывно слит со своим народом, ради него живет и борется. Пренебрегая смертельной опасностью, Тарас проникает в самое логово врага, во вражескую столицу, чтобы нравственно поддержать своего сына Остапа в минуту казни, чтобы не дать врагам потешиться над слабостью русского человека. Тарас не оплакивает погибшего Остапа, а мстит за него. И не в одиночку ему приходится мстить — «поднялась вся нация... отомстить за поругание прав своих, за позорное свое унижение, за оскорбление веры предков... за бесчинства чужеземных панов, за угнетение, за унию...» Грозна была месть: пылали вражеские города и села, рушились укрепленные замки, бежали враги... Когда родной сын Тараса изменил родине, отец не пощадил и его. «Так продать? — сказал Тарас сыну-предателю Андрею. — Продать веру? Продать своих?.. Я тебя породил, я тебя и убью!» И, отступив шаг назад, выстрелил.

Ради родины никакие жертвы не кажутся героям повести слишком большими. Никакие лишения, никакие муки не могут сломить их гордого и сурового духа. Навсегда останется в памяти читателя заключительная страница этой народной эпопеи. Привязанный к дереву,

Тарас указывает своим друзьям путь к спасению и с ненавистью бросает в лицо врагам: «Что, взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак?»... А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и расстилался пламенем по дереву... «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которые бы пересилили русскую силу!» восклицает Гоголь.

Повесть его сразу же стала народным достоянием; она облетела всю нашу обширную страну, проникла в самые далекие уголки. Ее читали в городах и селах, ее изустно рассказывали в крестьянских избах, она сама превратилась в фольклор. «Если в наше время, — восторженно писал о ней Белинский, — возможна героическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!»

И не только в России — в зарубежных славянских землях с энтузиазмом читали эту повесть о народной доблести, о борьбе славян за свободу. В Чехии, томившейся тогда под немецко-австрийским игмом, Гоголь стал любимым писателем. «Гоголь! — писал один из видных чешских критиков сороковых годов прошлого века. — Одна из первейших звезд на небосклоне русской литературы! ...Творения его, вышедшие в прошлом году в французском переводе, стали достоянием всего просвещенного мира, а отныне будут украшением и в сокровищнице нашей переводной литературы».

И действительно, целые поколения славянских народов воспитывались на книгах Гоголя. Уже в конце XIX века другой чешский критик писал о «Тарасе Бульбе»: «Попробуйте взять любой образчик исторической беллетристики, процветавшей в тридцатых и сороковых годах, например в Германии, и убедитесь, в состоянии ли будете дочитать до конца более обширную повесть. Прочитав несколько страниц, вы положите книгу в сторону. Пустота рассказа, бесцветность формы и содержания утомят вас тотчас же. «Тараса Бульбу» прочитаете с удовольствием до последней строки... Произведение это отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному повествовательному искусству: оно имеет свой особенный аромат, местный колорит и множество поэтически использованных деталей времени и места». Критик говорит о военном быте казаков, описанных Гоголем, и выражает желание, чтобы так была описана славная народная борьба в героическом прошлом Чехии, чтобы нашлись в чешской литературе страницы, рассказывающие с гоголевским мастерством, скажем, о «военном лагере гуситов под Вышеградом или под Пльзенью».

### ***В РАСЦВЕТЕ ТВОРЧЕСТВА***

Интерес Гоголя к истории, и прежде всего — к истории нашей родины, был настолько живым, творческим и в то же время



глубоким, что он захотел вынести итоги своих занятий на университетскую кафедру. «Я, — сообщает он своему приятелю Погодину, московскому историку, — на время решился занять здесь кафедру истории».

В тридцатых годах прошлого века в России историческая наука искала новых путей развития. Господствовавшая до того времени почти безраздельно дидактическая (нравоучительная) точка зрения на историю Карамзина уступала место стремлению объяснить исторический процесс, как цепь причинно связанных между собою событий. Одним из первых противников Карамзина был известный писатель Н. Полевой, утверждавший, что история должна быть не «историей княжений, а историей народа».

Гоголь взошел на университетскую кафедру именно затем, чтобы развернуть перед молодыми слушателями картину исторического процесса, как «непрерывно движущейся цепи происшествий». Гоголь видел в истории закономерное развитие, а не простое собрание фактов для моральных оценок прошлому с точки зрения настоящего, как это делал Карамзин. Для Гоголя главной движущей силой в истории был народ. Гибель той или иной формы государственности Гоголь объясняет разрывом связи между нею и народом. Причиной крушения Римской империи он, например, считал то, что народ империи почти везде находился «в состоянии рабства, под

деспотизмом сатрапов» и вовсе не входил «в связь с государственностью».

Насколько прогрессивной для того времени была точка зрения Гоголя, можно судить по тому, что спустя двадцать лет великий русский демократ Добролюбов говорил то же, справедливо указывая, что занятие историей окажется напрасным, если в основу истории «не будет положена мысль об участии в событиях всего народа, составляющего государство».

Гоголь тщательно готовился к чтению лекций в университете. Он много работал над тем, как построить свой курс, знакомился с трудами лучших европейских историков того времени, но не принимал то, что находил у них, как готовое, а самостоятельно и критически подходил к этому. В статье о Шлецере, Миллере и Гердере он пишет, что им «не доставало высокого драматического искусства», без которого не может быть настоящего великого историка. «Я разумею, однакож, — поясняет Гоголь, — под словом «драматического искусства» не то искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы ему неодолимую увлекательность... я бы к этому присоединил еще в некоторой степени занимательность рассказа Вальтер-Скотта и его умение замечать самые тонкие оттенки; к этому присоединил бы шекспировское искусство развивать крупные

черты характеров в тесных границах, и тогда бы, мне кажется, составилась такой историк, какого требует всеобщая история».

В своих лекциях Гоголь попытался осуществить высокие требования, предъявляемые им к историку. Отчего же получилось, что читал он неровно: иногда блестяще, а иногда плохо? Послушаем сначала рассказ о Гоголе-профессоре одного из его слушателей, студента Петербургского университета: «Невозможно было следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной... Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтобы он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, что со временем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков, в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом».

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: «Азия была всегда каким-то народо-вержущим вулканом». Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе,

тот ли это Гоголь, который на прошлой не деле прочел такую блестящую лекцию?»

Чем объяснялся такой срыв в чтении курса? Не слабой подготовкой Гоголя, как думали многие его биографы. Гоголь в теоретическом отношении был подготовлен не хуже большинства современных ему русских и западных историков. Объяснение нужно искать в том, что философия истории, как понимал ее Гоголь, была совершенно неприемлема для официальной исторической науки в николаевскую эпоху. Ведь даже по поводу вполне благонамеренной «Истории» Карамзина брат Николая I великий князь Константин Павлович, как известно, заметил: «Книга его исполнена якобинскими поучениями, прикрытыми витиеватыми фразами. По моему мнению, в истории надобно помещать одни числа, годы, имена и происшествия без больших об них рассуждений».

Гоголь понимал, что задуманный им курс истории меньше всего подходил под этот великокняжеский «идеал». Он не мог и не хотел ограничиться одними числами, именами и происшествиями. И у него опускались крылья, когда он шел читать не то, что хотел, и не так, как думал.

Понятно поэтому, что Гоголь вскоре стал тяготиться университетским преподаванием и поспешил оставить его, как только представилась для этого возможность.

В это время Гоголь работал над комедией



Собственноручный рисунок Гоголя к последней сцене «Ревизора».

«Ревизор», которая отчасти заменила для него неосуществленный замысел «Владимира 3-й степени». Это тоже была комедия с «правдой и злостью». В начале 1836 года Гоголь читал впервые «Ревизора» на вечере у Жуковского, где присутствовал также Пушкин. Успех был исключительный. Пушкин «во время чтения катался от смеха».

Верный своему убеждению, что пьеса должна быть играна на сцене, Гоголь принялся хлопотать о постановке «Ревизора». Но цензура была так испугана смелостью автора, который в комедии «решился собрать в одну кучу все дурное в России... все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», что немедленно запретила постановку. Тогда при помощи Жуковского было устроено чтение комедии во дворце. Николаю I больше всего понравились в «Ревизоре» помещики Добчинский и Бобчинский, и он разрешил поставить ее на сцене.

19 апреля 1836 года Александринский театр в Петербурге (куда когда-то Гоголь хотел поступить в актеры) был переполнен. Приехал даже знаменитый баснописец И. А. Крылов, много лет уже не бывавший в театре. Партер и ложи блистали роскошными туалетами дам, расшитыми золотом мундирами мужчин. Вся эта публика привыкла смотреть на театр, как на легкое развлечение, и совершенно не

была подготовлена к такой пьесе, как «Ревизор».

Уже после первого акта недоумение было видно на всех лицах. Со сцены глядела такая знакомая правда жизни, что привычное отношение к театру исчезло само по себе. В конце спектакля смех, по временам еще возникавший в зрительном зале, совершенно прекратился. Все с напряженным вниманием следили за тем, что происходит на сцене. Мертвая тишина в зале показывала, как глубоко захватила комедия присутствующих.

Когда занавес упал, не было обычных аплодисментов, но со всех сторон раздались голоса: одни восторженно хвалили автора, другие со злобой кричали: «Это невозможно, это клевета, фарс!»

Шум, поднявшийся в зрительном зале, перешел на страницы газет и журналов. Реакционные журналисты Булгарин и Сенковский с пеной у рта старались доказать, что Гоголь «выдумал» своих героев, что в жизни таких людей нет. «Зачем, — восклицали они, — показывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья? Зачем рисовать неопрятную картину заднего двора жизни без всякой видимой цели?»

Комедия Гоголя обсуждалась даже в частной переписке. Видный чиновник и литератор Вигель писал, например, своему приятелю: «Читали ли вы сию комедию? Видели ли вы ее? Я — ни то, ни другое, но столько о ней

слышал, что могу сказать: издали она мне воняет. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находились».

Но чем больше бесилось все тупое и реакционное, тем яснее становилось великое значение гениального произведения Гоголя. Вся передовая часть общества была на стороне Гоголя. Будущий критик и ученый В. Стасов так рассказывает о спорах, кипевших вокруг комедии: «Все мы были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи... Схватки выходили жаркие, продолжительные, до сверкающих глаз и глухо начинающейся ненависти и презрения...»

Гоголь сам не ожидал всего этого. Он хотел острым оружием смеха бороться со злом, которое видел, но вместо того вызвал бурю таких страстей, что сам был потрясен ею. «Все против меня, — горестно жалуется он: — чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы



против меня... Малейший признак истины — против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия».

Гоголь почувствовал необходимость разобраться в происшедшем. У него явилась потребность, на время остаться одному со своими мыслями. И он решил уехать. Конечно, на этот раз это совсем не было бегством за границу. Посылали его и врачи, обеспокоенные состоянием его здоровья.

### **ЗА РУБЕЖОМ**

6 июня 1836 года Гоголь сел на пароход и выехал из России. С собою он вез рукопись начатого произведения, которое называлось «Мертвые души».

Накануне отъезда Гоголя за границу Пушкин просидел у него в квартире всю ночь напролет. Великий поэт слушал новое произведение Гоголя. Первые главы «Мертвых душ» заставили Пушкина неудержимо смеяться. Но затем он стал делаться все серьезнее и сумрачнее и наконец воскликнул с тоской в голосе: «Боже, как грустна наша Россия!»

Самая мысль о «Мертвых душах» была подсказана Пушкиным. Еще до написания «Ревизора» Пушкин как-то сказал Гоголю: «Как с вашей способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, — с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!»

Плавание Гоголя по Балтийскому морю было неудачно. Вместо четырех дней парсход шел до Любека целых полторы недели. Морская качка, тяжело переносившаяся Гоголем, делала это путешествие мучительным для него. Совсем больной, он высадился в Любеке, памятном ему по первой поездке.

Из Любека Гоголь сушей поехал в Гамбург. Оттуда двинулся по Рейну, где сел на пароход, бывший еще тогда новинкой в Европе, и доехал до Майнца. Дальнейший путь лежал через Франкфурт и Баден-Баден в Швейцарию.

Гоголь поселился временно в Веве. Во время прогулок по Женевскому озеру он побывал в Шильонском замке и, по примеру всех путешественников, «нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильонского узника»; впрочем, не было даже и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев». Но чтобы любопытный мог отыскать когда-нибудь имя Гоголя в Шильонском подземелье, он далее сообщает: «Внизу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В Шильонском замке был заточен в XVI веке гражданин Женевской республики Бонивар, борец за свободу швейцарского народа. Великий английский поэт Байрон написал об этом поэму «Шильонский узник», переведенную на русский язык Жуковским.

Но все время Гоголь остро тосковал по родине.

Из Швейцарии он писал Жуковскому: «Осень в Веве, наконец, настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвые души», которые было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет. Какая разнообразная куча. Вся Русь явится в нем... Каждое утро в прибавление к завтраку вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые дома; мне живее тогда представились вы, в том самом виде, в каком встречали меня, приходившего к вам, и брали меня за руку, и были рады моему приходу... И мне сделалось страшно скучно».

Он не смог усидеть на месте. Из Швейцарии он поехал в Париж, где проживало тогда много русских знакомых Гоголя. Тут ему дышится легче. Он снова пишет Жуковскому: «Париж не так дурен, как я воображал...

Снова весел. «Мертвые души» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наше, наши помещики, наши офицеры, наши мужики, наши избы — словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже».

В Париже Гоголя застала страшная весть о смерти Пушкина, убитого на дуэли международным авантюристом Дантесом-Геккерном. Как подействовало на Гоголя это известие, можно судить по его собственному признанию: «Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Самые светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина... мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни строчка не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моей высшею и первую наградой. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя?»

Все, кто видел Гоголя в то время в Париже, одинаково описывают его душевное со-

стояние. Сын известного писателя-историка Карамзина, встретив Гоголя у общих знакомых, рассказывает: «Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него».

В эти дни Гоголь охотно стал встречаться с польским поэтом Мицкевичем, который когда-то был близок к Пушкину и сохранил самые светлые воспоминания о своем великом русском друге.

Наконец тоска Гоголя усилилась до того, что он решил покинуть Париж. Он поехал в Италию, куда его влекло с юности, когда он писал стихи:

Италия — роскошная страна!  
По ней душа и стонет и тоскует;  
Она вся рай, вся радости полна,  
И в ней любовь роскошная веснует.  
Бежит, шумит задумчиво волна  
И берега чудесные целует;  
В ней небеса прекрасные блестят;  
Лимон горит, и веет аромат.

Увы, действительность далеко не походила на эти наивные и восторженные стихи. Римом правил папа Григорий XVI, и управление его было, по словам итальянского историка Джоберти, самой печальной эпохой в истории этого города. Продажность администрации, преследование печати, нищета населения — вот что увидел в Риме Гоголь.

Но итальянский народ не мирился со своим тяжелым положением. В тридцатых годах под руководством выдающегося революционера Маццини возникает целое движение, известное под общим названием *risorgimento* (Воскресение). Лучшие представители этого движения образовали партию «Молодая Италия», ставившую перед собой задачу объединения всей страны и установление в ней республики. Теоретические взгляды самого Маццини представляли собою смесь домарковского мелкобуржуазного социализма с религиозно-католическими идеями, широко распространенными тогда в Италии. Не случайно поэтому девизом «Молодой Италии» были слова: «Бог и народ». В 1835 году, то есть незадолго до приезда Гоголя, Маццини выпустил в свет программу-манифест, где было сказано: «Средствами, которыми думает пользоваться «Молодая Италия» для достижения своей цели, являются воспитание и восстание; воспитание примером, словом и книгой внедрит в 20 миллионов итальянцев сознание их национальности, так что восстание застанет их уже вполне готовыми подняться против притеснителей».

Такая обстановка была в Риме, когда туда приехал Гоголь.

У Гоголя в это время не осталось почти ни гроша в кармане. Из Рима он написал Жуковскому: «Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни копейки; вле-

реди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голоду. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтоб она была долговечна; а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду».

В Риме Гоголь сблизился с молодыми русскими художниками, приехавшими в Италию совершенствоваться в своем искусстве. С одним из них, Александром Ивановым, он крепко подружился. Он охотно посещал студию Иванова, посредине которой на огромной подставке возвышалась картина, над которою художник трудился много лет. Это было знаменитое «Явление Христа народу» — картина, находящаяся ныне в Третьяковской галлерее, в Москве.

Иванов был тоже беден, но даже не замечал этого. Он погружен был в нравственные вопросы, которыми жила тогда вся «Молодая Италия». С ним Гоголь чувствовал себя легко и свободно. Они бродили вместе по улицам Рима, говорили о родине, об искусстве, о значении личного примера в жизни. По просьбе художника Гоголь согласился пози-

ровать для его картины. На одном из первоначальных ее эскизов и теперь можно видеть фигуру Гоголя в позе грешника, потрясенного встречей с Христом. Вероятно, именно в это время, под влиянием окружающей обстановки, у Гоголя началось то увлечение мистицизмом, которое привело впоследствии к таким роковым результатам.

Кроме Иванова, Гоголь сблизился в Риме с известной русской аристократкой З. Волконской — приятельницей двух безвременно погибших поэтов: Пушкина и Веневитинова. У Волконской была в Риме вилла, построенная с роскошью и большим вкусом. Вилла утопала в цветниках и виноградниках, среди которых вились прихотливо устроенные дорожки. Гоголь любил бывать на этой вилле; отсюда открывался неповторимый по своей красоте вид на арки древних римских водопроводов, на громадные здания Колизея, на собор св. Петра и на отдаленные поля Компаньи.

Княгиня Волконская, пережившая в жизни много разочарований и утрат, искала теперь утешения в католической религии и была постоянно окружена польскими патерами. С ее согласия патеры принялись и за «обращение» Гоголя. Один из них, Петр Семененко, рассказывает об этом так: «Обед у Волконской прошел, как мы желали; я сидел рядом с Гоголем и разговаривал с ним по-русски... Сдается мне, что с пару хороших мыслей я



ему внушил. Сильно Гоголь «задумался», говоря его языком. «Это меня радует, — говорила нам позднее княгиня Волконская. — Заметили ли вы, как он внутренне работает?»

Патеры не ограничивались встречами с Гоголем у Волконской. Они стали посещать Гоголя в его собственной квартире. Разговор начинался обыкновенно на славянские темы, которые всегда интересовали Гоголя, а затем переходил на религиозные. Чтобы «удобнее беседовать» с Гоголем, патеры, по словам того же Семененко, «условились ходить вперед поодиночке, так как одиночные встречи более располагают к взаимному обнаружению себя».

В 1838 году в Рим приехала семья графов Виельгорских, с которыми Гоголь познакомился еще в Петербурге через Пушкина и Жуковского. М. Ю. Виельгорский был известным музыкантом, приятелем Глинки и других выдающихся деятелей русской музыки и литературы. В Риме Гоголь сблизился с его сыном Иосифом Виельгорским. Этот талантливый юноша собирал материал для сочинения по русской истории, но состояние его здоровья не позволяло надеяться на окончание труда. Он вскоре умер от туберкулеза. Воспоминание о дружбе с Иосифом Виельгорским отразилось потом в произведении Гоголя «Ночи на вилле».

Смерть Иосифа Виельгорского довершила то, что начала близость с художником Ивано-

вым и встречи с католическими патерами. Гоголь впал в религиозно-мистическое состояние, от которого не мог уже освободиться до конца жизни. В одном из писем этого периода своей римской жизни он делает характерное признание: «Я решился идти сегодня в одну из церквей, где дышит священный сумрак и где солнце с вышины овального купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению... в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся».

Результаты таких настроений не замедлили сказаться. Работа Гоголя резко затормозилась. «Мертвые души» почти не двигались с места. Гоголь задумал новое произведение: историческую трагедию из жизни запорожцев. Тема очень волнует его, она близка к «Тарасу Бульбе», одному из самых любимых произведений Гоголя. Но теперь он так далеко от родины, что не находит необходимых сил для такой темы. Он чувствует, что ему надо вернуться в Россию, что здесь, в Риме, он как художник становится бесплоден.

В 1839 году Гоголь наконец выехал в Россию. По дороге ему пришлось задержаться некоторое время в Вене. Он скучает, тяготеет вынужденным одиночеством и пишет друзьям на родину: «Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я пре-

дан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеченным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, где я один и где я чувствовал скуку... В Вене я скучаю... Ни с кем почти незнаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, — вот и все тут. Труд мой, который начал (трагедия из жизни запорожцев. — *Н. В.*), нейдет. Или для драматического творчества нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны?»

### **ОПЯТЬ НА РОДИНУ**

Гоголь не сразу поехал в Петербург, а заехал предварительно в Москву, где у него не было определенного дела, но где он мог лучше всего надышаться воздухом родины, окунуться в самую гущу ее жизни.

В Москве Гоголь посещает своих старых знакомых, часто бывает в семье известных славянофилов Аксаковых. Знакомые заметили в нем большую перемену, даже во внешности. «Наружность Гоголя, — говорит С. Т. Акса-

ков, — так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изобразалось в них серьезное устремление к чему-то внешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее».

Насколько верно подметил Аксаков внешнюю перемену в Гоголе, можно легко убедиться, сличив два его портрета. Один, написанный Венециановым до отъезда Гоголя в Рим, и другой, написанный художником Моллером в Риме. Словно два разных Гоголя глядят на нас с этих портретов. Эта внешняя перемена зависела от того внутреннего перелома, который произошел в Гоголе во время его римской жизни.

Гоголь еще не видел на московской сцене постановку «Ревизора», и Аксаковы уговорили его пойти с ними в театр. По Москве заранее распространился слух, что Гоголь будет на спектакле. В театре собралась вся литературная Москва, чтобы чествовать

любимого писателя, вернувшегося на родину после трехлетнего отсутствия. Уже после третьего акта все зрители поднялись со своих мест и стали вызывать автора, громко аплодируя. Но Гоголь отказался выйти на сцену; он быстро повернулся, ушел из ложи, где сидел с Аксаковыми, и потихоньку оставил театр, к великому огорчению публики.

Покидать Москву Гоголю не хотелось. Он откладывал свою поездку в Петербург со дня на день. Наконец Аксаков, собиравшийся также в Петербург по делам, предложил ему ехать вместе.

Поехали в дилижансе, разделенном на два купе: в первом Гоголь с младшим сыном Аксакова, во втором — сам Сергей Тимофеевич со старшей дочерью Верой. Гоголь в пути был необыкновенно весел и всю дорогу шутил: словно возвращение на родину влило в него новую энергию и жизнерадостность.

На станции Торжок проголодавшиеся путешественники заказали котлет. В котлетах оказались какие-то длинные белокурые волосы. Послали за поваром. Гоголь, смеясь, стал предсказывать, что тот скажет: «Волосы? Какие же тут волосы-с? Откуда придти волосам-с? Это так-с! Ничего-с! Куриные перушки или пух!»

Еще Гоголь не кончил говорить, как вошел повар и, действительно, начал говорить именно это и точно с такими же интонациями. Это

вызвало такой хохот, что повар, ничего не понимая, в удивлении выпучил глаза.

Поехали дальше. Где-то решили купить пряников. Гоголь, взяв один из них в руки, вдруг начал с самым серьезным видом уверять продавца, что это не пряник, а мыло: это видно по белому его цвету, да и по запаху. Если продавец сомневается, то пусть сам отведает; к тому же мыло стоит дороже, так что не в интересах продавца заменять им пряники. Сбитый с толку продавец опешил — и снова общий хохот путешественников.

В Петербурге Гоголь пробыл недолго — около полутора месяца. За это время он постоянно встречался с Жуковским и несколько раз с Белинским.

Сестры Гоголя закончили в Петербурге Патриотический институт. Вместе с ними Гоголь (опять с Аксаковыми) вернулся в Москву. Он поселился в доме своего приятеля, профессора истории М. П. Погодина. Попытка Гоголя пристроить сестер к какому-нибудь делу кончилась неудачей; институт меньше всего прививал женщинам навыки к самостоятельному труду. Пришлось вызвать из Васильевки мать и отправить с нею сестер на Украину.

Гоголь занялся устройством своих денежных дел. Он задумал переиздать свои сочинения. Книгопродавцы, зная трудное материальное положение писателя, решили воспользоваться этим: они предложили ему ничтожный гонс-

рар. Гоголь не согласился. Дело застопорилось. Наконец на помощь Гоголю опять пришли друзья: Жуковский и Аксаков одолжили ему необходимую сумму с тем, чтобы он мог без нужды прожить год и закончить работу над первым томом «Мертвых душ».

В Москве, в доме Аксакова, Гоголь читал некоторые главы «Мертвых душ». Слушать собралось много народу. Сначала гости сидели в кабинете хозяина, ожидая, что Гоголь предложит начать чтение. Но он словно забыл об этом. Наконец Аксаков спросил его:

— А вы, кажется, Николай Васильевич, дали нам обещание... Вы не забыли его?

— Какое обещание? — с деланным удивлением переспросил Гоголь. — Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно; вы меня лучше уж избавьте от этого.

Гости приуныли. Но Аксаков, лучше знавший Гоголя, не смущаясь, стал уговаривать его. Наконец Гоголь сказал:

— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, что прочесть... — И приподнялся с дивана.

Он пошел в гостиную. Все последовали за ним. Гоголь подошел к большому овальному столу, сел за него, бросил беглый взгляд на присутствовавших и опять стал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего отделанного и оконченного... и вдруг рыгнул,

раз, другой, третий... Гости переглянулись между собой в недоумении.

— Что это у меня? точно отрывка! — сказал Гоголь и остановился.

Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились. Но Гоголь продолжал спокойно:

— Вчерашний обед засел в горле: это грибки да ботвинья! Ешь, ешь, просто чорт знает, чего не ешь... — И заикал снова, затем вынул рукопись из кармана и положил ее перед собою на стол: «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?»

Тут все догадались, что вся эта сцена была подготовкой к чтению драматического отрывка «Тяжба», начинавшегося именно такими словами. Во время чтения все глаза были устремлены на чтеца, да изредка слушатели обменивались взглядами, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Знаменитый актер М. С. Щепкин весь сиял. Прочитав «Тяжбу», Гоголь перешел к «Мертвым душам».

Вот что рассказывает об этом чтении присутствовавший при этом писатель Панаев: «Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшей простотой, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, — он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее



между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большей простотою, чем Писемский... Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне... На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были потрясены и удивлены. Гоголь открывал для его слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностью, и с такою изумительною верностью, и с такою художественною силою... И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия».

\* \* \*

Дом Погодина, в котором жил Гоголь, представлял собою настоящий музей редкостей. В кабинете самого хозяина старинные книги лежали грудями на полу, а на ореховых столах громадные каменные глыбы с татарскими и сибирскими надписями. За толстой стеной кабинета находилась довольно обширная столовая, освещавшаяся сверху стеклянным куполом, крыша которого была видна на Девичьем Поле отовсюду. Из этой столовой шла балюстрада в виде хоров, по которой поднимались в мезонин, где находились комнаты

Гоголя. За домом был разбит обширный сад, начинавшийся лужайкой с беломраморной вазой посредине. Далее шла широкая старинная липовая аллея до самого конца сада с беседкою из дикого винограда. Тенистые деревья сада свешивались через высокий деревянный забор на Девичье Поле. Обширные пруды летом задергивала зеленая сеть ряски. При саде было еще много свободной земли, которую расчетливый хозяин сдавал ежегодно под огороды.

Вот в этом доме 9 мая 1840 года Гоголь отпраздновал свои именины. Среди приглашенных были Аксаковы, друг Пушкина князь Вяземский, поэт Дмитриев и особенно редкий гость — Михаил Юрьевич Лермонтов, приехавший познакомиться с Гоголем перед отправлением своим в ссылку на Кавказ по распоряжению Николая I.

Обед был веселый и шумный. Гоголь и Лермонтов оба были в центре внимания. После обеда пошли в сад, где Лермонтов стал читать отрывки из новой, только что законченной им поэмы «Мцыри». Гоголь слушал серьезно и внимательно. В великолепных стихах поэмы чувствовался мятущийся дух самого поэта, достойного наследника погибшего Пушкина. Эта встреча Гоголя и Лермонтова оказалась последней: через год Лермонтов был так же убит на дуэли, как и Пушкин.

Гоголь опять собирался ехать в Рим. В «Московских ведомостях» еще 6 ап-

реля было напечатано объявление: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем Поле, в доме проф. Погодина, спросить Николая Васильевича Гоголя». Однако попутчика на таких условиях, видимо, было не так легко найти. Во всяком случае, Гоголь уехал только через полтора месяца после своего объявления.

Покидал Гоголь Россию со смутным чувством. Он любил родину с прежней чуждостью, уезжая, чувствовал, что рвется еще одна какая-то драгоценная нить, что еще труднее будет жить ему на чужбине. До нас дошли сведения, показывающие, как дорог был для Гоголя переданный ему прощальный привет Белинского. «Скажи от меня Гоголю, — писал великий русский критик Аксакову, — что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества».

Гоголь уезжал для того, чтобы закончить «Мертвые души». Он прикоснулся к родной земле, и родина влила в него новые силы, и теперь он собирался сосредоточиться в себе,

дать отстояться впечатлениям и завершить наконец свой гигантский труд.

### СКИТАНИЯ

Он уехал. Но чем дальше отъезжал от России, тем сильнее становилась его тоска. В Вене Гоголь, по его собственным словам, «был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не оставался в покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно, это была та самая тоска, то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Виельгорского в последние минуты жизни... Я понимал свое положение и, наскоро собравшись с силами, нацарапал, как мог, тощее духовное завещание, чтобы хотя бы долги мои были выплачены немедленно после моей смерти. Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию».

В Венеции Гоголь познакомился с молодым русским художником Айвазовским, впоследствии получившим мировую известность. Они быстро подружились, несмотря на то, что Гоголь не легко сходиллся с людьми.

Айвазовский, преклонявшийся перед великим писателем, так рассказывает о впечатлении, произведенном на него Гоголем: «Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки;

Гоголь выкупал эту неприглядность внешности любезностью, неистощимую веселостью и проблесками своего чудного юмора, которым искрились его беседы в приятельском кругу. Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброй улыбкой лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя... Со мною, однакож, он довольно скоро сошелся, и я не раз наслаждался его милою беседою».

Десять дней, которые Гоголь провел в Венеции, он часто виделся с Айвазовским, вместе с ним ездил по каналам в гондоле между мраморными дворцами, бродил по знаменитой площади св. Марка.

Гоголь предложил Айвазовскому вместе ехать во Флоренцию. Эта поездка с Гоголем на всю жизнь запомнилась Айвазовскому. Через полвека, в глубокой старости, он рассказывал о ней молодому Чехову, когда тот навещил его в Крыму,

Из Флоренции Гоголь направился в Рим. Но «ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровало меня, — вынужден признаться он в письме друзьям на родину, — ничто не имеет на меня влияния... Теперь не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол (собора св. Петра.—*Н. В.*), ни на воздух, ни на все... мысль моя развлечена: она с вами».

В Риме Гоголь принимается за свой труд, «Мертвые души». Теперь он снова полон

впечатлениями родины. Работа идет успешно. Он надеется к концу 1841 года приехать опять в Россию печатать уже готовую книгу. «Теперь я ваш, — сообщает он друзьям. — Москва — моя родина! В начале осени я прижму вас к моей русской груди».

Новых произведений Гоголя с нетерпением ожидали в России; их ждали и в Западной Европе. Известный критик Варнгаген фон-Энзе писал в 1841 году: «Если Гоголь, гениальный, глубоко своеобразный, уходящий своими корнями в природу и историю родного края, не сравнимый ни с каким предшественником, никаким преемником незатеняемый Гоголь, в течение многих лет молчит, то все же он живет, и мы знаем, что он продолжает творить... Простота и правдивость описаний Гоголя обладают высокой прелестью, для которой мы затрудняемся подыскать достойное выражение».

Летом 1841 года первый том «Мертвых душ» наконец был закончен. Нужно было переписать его набело и везти в Россию печатать. Чтобы ускорить переписку, Гоголь предложил писать под свою диктовку Анненкову; приехавшему тогда в Рим. Анненков восторженно принял это предложение: ведь он первый узнает все содержание «Мертвых душ» и притом из уст самого Гоголя!

Ежедневно по утрам он приходил в комнату Гоголя и садился за круглый стол, а Гоголь, разложив перед собой тетрадку на том

же столе, начинал диктовать мерно, торжественно. Анненков иногда так заслушивался, что не поспевал записывать, и Гоголь тогда останавливался и терпеливо ждал.

Стояло знойное итальянское лето. В комнату часто врвался через открытое настежь окно пронзительный рев осла и слышался удар палки по спине животного, сопровождаемый сердитым жеиским криком:

— Ecco, ladrone!<sup>1</sup>

Гоголь останавливался и, улыбаясь, приговаривал: «Как разнежился, негодяй!» — и снова продолжал фразу с той же выразительностью и силой, с какою начинал ее. Иногда диктовка прекращалась по случаю маленького орфографического спора, возникавшего между автором и переписчиком. Оказавшись неправым, Гоголь неизменно благодарил:

— За науку спасибо.

Анненков не мог не подивиться тому, с каким вниманием Гоголь относится к каждому слову, даже к звучанию слоб в своем произведении. Анненков теперь воочию видел, что такое работа художника над словом.

Анненков старался добросовестно исполнять свои обязанности переписчика, но некоторые сцены «Мертвых душ» так захватывали его, что он бросал перо и разражался неудержимым хохотом.

— Старайтесь не смеяться, — хладнокровно говорил Гоголь.

<sup>1</sup> — Вот тебе, разбойник!

Впрочем, иногда хладнокровие изменяло и Гоголю: он заражался неподдельным смехом Анненкова и вторил ему. Так случилось, например, во время переписки эпизода с капитаном Копейкиным. Борясь со смехом, Гоголь несколько раз спрашивал:

— Какова повесть о капитане Копейкине?

— Хороша! — отвечал Анненков. — Но увидит ли она печать когда-нибудь?

— Печать — пустяки! — с уверенностью сказал Гоголь. — Все будет в печати.

Он еще не знал тогда, как отнесется царская цензура к его «Мертвым душам».

Диктуя главу, в которой описывался сад Плюшкина, Гоголь встал с кресла. Казалось, все, о чем он говорил, носилось в эту минуту перед его глазами. Анненков, положив перо, сказал:

— Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью.

Гоголь крепко сжал тетрадку, по которой диктовал, и произнес взволнованно, едва слышным голосом:

— Поверьте, что и другие не хуже ее.

Окончательно отделявая и диктуя «Мертвые души», Гоголь непрерывно находился в состоянии могучей творческой радости. Однажды, выйдя после занятия с Анненковым на улицу, он запел какую-то разудалую песню и даже пустился в пляс, вывертывая зонтиком, который он взял с собою на всякий случай, такие штуки, что через две минуты ручка



зонтика осталась у него в руках, а все остальное полетело в сторону. Хорошо, вспоминает Анненков, что был поздний час и на улице совсем не было народу!

Гоголь не любил показывать еще не законченные свои вещи. Однажды среди листков, подложенных Гоголем под тетрадку, в которой писал Анненков, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко исписанный рукою Гоголя. Анненков прочел фразу: «И зачем это господь бог создал баб на свете. Разве только, чтоб казаков рожала баба...»

Вдруг Гоголь сердито бросился к Анненкову и с восклицанием: «Это что!» вырвал у него бумажку из рук, быстро сунул ее в письменное бюро. Анненков догадался, что это был отрывок из запорожской трагедии Гоголя, о которой тогда тоже много говорили в обществе.

В это лето творческого подъема к Гоголю вернулась его прежняя шутливость и дар мастерски воспроизводить манеру разговора и весь духовный облик знакомых ему людей. Среди его итальянских знакомых был профессор Болонского университета Джузеппе Меццофанти, известный тем, что знал более пятидесяти языков, на которых более или менее хорошо говорил. С Гоголем Меццофанти ради практики всегда разговаривал по-русски. Но так как он не сразу припоминал нужные ему слова, то по нескольку раз повторял их, пока не складывалась правильно вся фраза. Гоголь

В совершенстве копировал Меццофанти. Он также немного наклонялся вперед, вертел шляпу в руках и говорил быстро: «Какая у вас прекрасная шляпа... прекрасная, круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная — это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа» и т. д.

Меццофанти написал для Гоголя даже стихотворение по-русски:

Любя Российских муз, я голос их внимаю  
И некие слова их часто повторяю,  
Как дальний Отзыв, я не ясно говорю:  
Кто может мне сказать, что я стихи творю?

Осенью 1841 года Гоголь выехал в Россию. С собою он вез совершенно законченный первый том «Мертвых душ» и запорожскую трагедию, повидимому, тоже законченную. По дороге Гоголь сделал крюк и заехал во Франкфурт, где жил тогда Жуковский, переводивший «Одиссею» на русский язык.

Друзья встретились сердечно. После обеда Гоголь предложил прочесть свою запорожскую трагедию. Об этом первом и последнем чтении не дошедшей до нас трагедии сохранился такой, может быть полуманекдотический рассказ. Жуковский, предвкушая удовольствие от чтения Гоголя, поудобнее устроился перед камином. Но Жуковский имел привычку спать после обеда, и теперь, помимо его воли, сон постепенно охватил его. Разбудил Жуковского громкий вопрос Гоголя:

— Как вам понравилась трагедия?

— Ну, брат Николай Васильевич, — смущенно сказал Жуковский, — прости, мне сильно спать захотелось.

— А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее, — ответил Гоголь и тотчас же бросил рукопись в горящий камин.

### «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

В октябре Гоголь был уже в Петербурге, прожил там пять дней, повидался с друзьями и выехал в Москву. В почтовой карете с ним вместе ехал некто Пейкер, который, узнав, что соседом является знаменитый русский писатель, стал назойливо заговаривать с ним. Гоголь, не любивший беседы с незнакомыми людьми, стал уверять, что его фамилия не Гоголь, а Гогель, прикинулся простачком, выдумал про себя какую-то плачевную историю и, подняв воротник выше головы, всю дорогу читал или предавался своим мыслям.

Каково же было удивление Пейкера, когда через несколько дней в Москве он встретился с Гоголем в доме Аксаковых и узнал в нем своего дорожного соседа! Пейкер не обладал чувством юмора. Выходка писателя так обидела его, что он никак не хотел помириться с Гоголем.

В Москве Гоголь остановился опять в доме Погодина. «Я в Москве, — сообщает он поэту Языкову. — Дни все на солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною открытое

поле, и ни кареты, ни дрожек, ни души, словом — рай... У меня на душе хорошо, светло».

Это светлое настроение продолжалось у Гоголя недолго. Начались затруднения с печатанием «Мертвых душ». Гоголь столько лет обдумывал свое произведение, с такой горячей любовью к родине писал его, что даже не допускал мысли о каком-нибудь препятствии со стороны цензуры. Правда, тупость тогдашней цензуры ему была известна. Из уст в уста переходил рассказ о том, как цензор Красовский, высмеянный в свое время Пушкиным, давал заключение о стихотворении поэта Олина. Против стихов:

О, сладостно, клянусь, с тобою жить,  
Сливать с душой твоей все мысли, разговоры,  
Улыбку уст твоих небесную ловить —

он написал: «Сильно сказано, женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною», а по поводу стихов:

О! как бы я желал пустынных стран в тиши,  
Безвестный, близ тебя к блаженству приучаться,  
И кроткою мелодией твоей души,  
Во взоре дышащей, безмолвствуя, пленяться —

Красовский сделал строгое предупреждение автору: «Таких мыслей никогда рассеивать не должно — это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю. Сверх того, к блаженству можно приучаться только близ евангелия, а не близ женщины».

Гоголь все это знал и все еще надеялся,

что с его произведением цензура обойдется иначе. Однако с «Мертвыми душами» произошло буквально то же самое.

Рукопись была отдана самим Гоголем цензору Снегиреву, которого Гоголь считал умнее других. Снегирев дня через два, прочитав рукопись, сказал Гоголю, что в ней надо переменить только два-три имени, а в остальном в ней нет ничего, что бы могло навлечь подозрения самой строгой цензуры. Прошло несколько дней, и вдруг оказалось, что Снегирев все-таки счел необходимым передать рукопись в цензурный комитет. Цензурный комитет, очевидно получивший указания свыше, отнесся к рукописи крайне придирчиво. Как только президент комитета Голохвастов услышал название «Мертвые души», то закричал, по рассказу самого Гоголя, «голосом древнего римлянина»:

— Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия.

Едва удалось разъяснить ему, что дело идет о ревизских, то есть крепостных, душах. Но поняв это, Голохвастов и другие цензоры перепугались еще больше; в один голос они закричали:

— Нет, этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревизская душа; уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права.

Тут уж и сам Снегирев увидел, что дело зашло чересчур далеко. Он стал уверять цензоров, что читал всю рукопись и что о крепостном праве в ней ничего нет, что даже не упоминаются обычные оплеухи, которые раздаются крепостным людям во многих, дозволенных цензурой повестях.

— Главное дело, о котором идет речь в «Мертвых душах», — говорил Снегирев, — это смешное недоумение продающих и тонкие хитрости покупателя, вызывающие всеобщую ералашь. В книге показан ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, — словом, собрание картин, самых невозмутительных.

Но ничего не помогло.

— Предприятие Чичикова, — закричали хором цензоры, — есть уже уголовное преступление!

— Да, впрочем, и автор не оправдывает его, — заметил Снегирев.

— Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души.

Напрасно взывал Снегирев к здравому смыслу. Даже самые «просвещенные» цензоры отвечали ему так:

— Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков, цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое достоинство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя,

написанное на бумаге, но все же это имя — душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не придет.

Наиболее усердные цензоры обнаружили в рукописи скрытые политические намеки. Один из цензоров тонко заметил по поводу того, что в «Мертвых душах» рассказывается о разорившемся помещике, строившем в Москве дом:

— Да ведь и государь строит в Москве дворец!

Это было последней каплей. После этого весь цензурный комитет единогласно постановил запретить печатанье рукописи.

Легко понять, как воспринял Гоголь решение цензурного комитета. Книга, на которую он возлагал столько надежд, являвшаяся его патриотическим долгом перед родиной, книга, написать которую он поклялся Пушкину, теперь была обречена на небытие.

Гоголь не мог примириться с явной бессмысленностью решения комитета. Он обратился за помощью к Белинскому, который, по счастью, находился в это время в Москве. По просьбе Гоголя, Белинский должен был отвезти рукопись в Петербург, передать ее князю Одоевскому и графу Виельгорскому, чтобы через них добиться разрешения ее печатать.

Белинский прежде всего сам прочел руко-

пись. Он был восхищен ею. «Творение чисто-русское, национальное, — писал впоследствии великий критик о «Мертвых душах», — выхваченное из тайников народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодovitому зерну русской жизни; творение необъятно-художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое».

Белинский отвез рукопись в Петербург. Там дело пошло успешно. Цензор Никитенко, которому была передана рукопись графом Виельгорским, хотел было показать ее Уварову, этому «министру погашения и помрачения просвещения в России», как называл его Белинский. Но, к счастью, удалось обойтись без Уварова. Никитенко не решился только пропустить повесть о капитане Копейкине, входившую в первый том «Мертвых душ».

Повести о капитане Копейкине Гоголь придавал очень большое значение, об этом он говорил еще в Риме Анненкову. В ней был изображен раненый русский офицер, сражавшийся с честью за отечество, человек простой, приехавший в Петербург хлопотать о пенсии. Вместо помощи Копейкин встретил в столице оскорбительно равнодушное отноше-



ние к себе. «Промышляйте о себе, как знаете», ответило ему «значительное» лицо, к которому он обратился. Тогда, возмущенный черствым, бюрократическим отношением, капитан Копейкин сделался атаманом разбойничьей шайки и стал жестоко мстить тем людям, которые так вопиюще несправедливо поступили с ним.

Гоголь не мог примириться с запрещением повести. Он пишет в Петербург к Плетневу: «Уничтожение «Копейкина» меня сильно смутило. Это одно из лучших мест в поэме, и без него — прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решил переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте, кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думал даже, что один Никитенко может теперь ее пропустить».

После уступки со стороны Гоголя Никитенко дал заключение: «Эпизод сей дозволить к напечатанию в таком виде, как он изложен автором». Тем не менее Гоголь никогда не мог забыть того насилия, какое произвела над его книгой николаевская цензура.

9 мая 1842 года, в день своих именин, Гоголь опять устроил обед для друзей в доме Погодина. На этот раз среди них не было Лермонтова, убитого год назад на дуэли в Пятигорске. После обеда Гоголь в саду сам приготавливал жженку, и когда голубоватое пламя охватило куски сахара, грустно сказал:

— Это Бенкендорф, который должен привести в порядок наши желудки.

Присутствовавшие поняли намек Гоголя на то, что в смерти Лермонтова виновно было царское правительство.

Бенкендорф был шефом жандармов, а жандармы носили голубые мундиры.

В конце мая вышел из печати первый том «Мертвых душ». Впечатление, произведенное им, было огромно. «Мертвые души», — писал Герцен, — потрясли всю Россию». Главный герой поэмы Чичиков — рыцарь накопления, тип, очень распространенный во всяком буржуазном обществе. Недаром впоследствии в предисловии к переводу «Мертвых душ» на английский язык писал о нем П. Кропоткин: «Чичиков может покупать мертвые души или железнодорожные акции, он может собирать пожертвования для благотворительных учреждений или стараться пролезть в директоры банка... Это безразлично. Он остается бессмертным международным типом; вы встретитесь с ним везде, он принадлежит всем странам и всем временам; он только

принимает различные формы, сообразно условиям места и времени».

Другие персонажи поэмы представляли собою целую портретную галерею нравственных уродов, людей, не только не нужных обществу, но и прямо вредных для него. Манилов — тип пустого, никчемного человека, занятого нелепыми мечтами о бесполезных вещах. Собакевич — антиобщественный эгоист, для которого все люди представляются мошенниками. Коробочка — тупая, упрямая старуха. Впрочем, сам Гоголь указывает на широкое обобщающее значение этого типа: «Иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка». Ноздрев — легкомысленный прожигатель жизни, для которого не существует ни здравого смысла, ни каких-либо нравственных норм. Плюшкин — скряга, потерявший человеческий образ и способность понимать правильно собственные поступки... Все эти и десятки других типов обладали мощной обобщающей силой. Каждый из этих типов представлял собою замечательное открытие. Галерея персонажей «Мертвых душ» позволяла читателям увидеть всю глубину пошлости в ее многообразных разновидностях, порожденных уродливыми общественными отношениями того времени. Вот почему русское общество было потрясено книгой Гоголя. Потрясен был и сам автор, увидев впечатление, произведенное «Мертвыми душами» на

читателей. «Реализм Гоголя, — как справедливо указывал М. Горький, — был настолько силен», что «он сам был напуган силою своего критицизма до безумия».

Повторилось в еще большем масштабе то, что произошло после появления «Ревизора». Гоголю показалось, что его снова не поняли или что он написал не так, как было нужно. Ведь, кроме Чичиковых, Маниловых, Собакевичей, Ноздревых и им подобных, были же настоящие люди на русской земле! Где же они в поэме? Гоголь безгранично любил свою родину, он был настоящим русским патриотом, верившим в великое и прекрасное будущее русского народа, в огромные силы его; поэтому он с полным убеждением говорит в «Мертвых душах»: «Может быть, в сей же самой повести почувются нам еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга перед живым словом! Подымутся русские движения и увидят, как глубоко заронилась в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов».

Гоголь чувствовал, какие великие силы скрыты в русском народе. Великий художник

верил, что наступит день, когда выйдут могучие силы народа на свободную, широкую дорогу и весь мир будет восхищенно преклоняться перед красотой русского духа, перед величием его неповторимого в истории подвига. Поэтому Гоголь подлинно пророчески, словно видя на столетие вперед, закончил первый том «Мертвых душ» такой вещью картиной: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик — борода да рукавицы и сидит чорт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затащил песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! и вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила

заклучена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Но пророческие видения художника были заслонены для читателей (так казалось Гоголю) страшными масками пошлых уродцев, действовавших в книге. Словно дремучий лес сказочных чудовищ вставал перед читателем со страниц книги, мешая видеть светлое царство народного духа, очарованно спавшее в его заколдованной чаше.

Гоголь еще раз пережил трагедию художника и в подавленном настроении, чувствуя себя совершенно больным, выехал в Рим.

### **НОВАЯ КНИГА ГОГОЛЯ**

Позади Гоголя продолжали бушевать страсти, поднятые первым томом «Мертвых душ», сам же он думал о новых произведениях.

Только что вышедшую книгу он считает уже малозначительной «в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она, в отношении к ним, — говорит он, — все мне кажется похужею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах».

Между тем здоровье Гоголя становится все хуже и хуже. В Риме ему не сидится. Он переезжает с места на место, странствуя по Швейцарии, Германии, Франции и Бельгии.

Во время этих странствований его встретил знаменитый французский критик Сент-Бев, оставивший нам об этом такой рассказ: «На пароходе, отправлявшемся из Рима в Марсель, я встретил Гоголя, и после разговора с ним, разговора умного, ясного и богатого меткими бытовыми наблюдениями, я уже мог предвкушать все своеобразие и весь реализм его произведений... Гоголь говорил мне, что нашел в Риме настоящего поэта, по имени Белли, который пишет сонеты на транстевринском наречии, сонеты, следующие друг за другом и образующие поэму. Он говорил мне подробно и убедительно о своеобразии и значительности таланта этого Белли, который остался совершенно неизвестен нашим путешественникам».

Белли, произведения которого Гоголь знал и любил, был поэтом «Молодой Италии».

Гоголь упорно пытается работать над вто-

рым томом «Мертвых душ». Но дело не клеится. Его самого не удовлетворяет этот второй том, в котором он хочет примириться с действительностью николаевской России — показать «людей положительных», которые могли бы «послужить примером» для читателей. Неудовлетворенность работой вызывает в Гоголе повышенную мнительность; в нем появляется и развивается склонность к суеверию.

Как-то в Ницце он читал своей приятельнице Смирновой, с которой сдружился еще в Риме, новые главы из второго тома. В них рассказывалось об Улиньке, вышедшей уже замуж за Тентетникова. Был жаркий день, становилось душно. Надвигалась гроза. Гоголь делался все беспокойнее; наконец он захлопнул тетрадь, и почти одновременно с этим послышался удар грома. Гоголь затрясся всем телом и, опустив голову, сидел так до тех пор, пока не окончилась гроза. Когда после его просили дочитать начатое, он ответил:

— Сам бог не хотел, чтобы я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения.

Летом 1845 года болезнь Гоголя усилилась. С тоской он признается: «Душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносит болезнь, бьется с ней и выбивается из сил биться... Всякое занятие умственное невозможно и усиливает хандру, а всякое другое занятие —



не занятие, а потому также усиливает хандру. Изнурение сил совершенное».

Никто из врачей не может помочь ему. Сам же он настолько безнадежно смотрел в это время на свою болезнь, что уже приготовился к смерти. «Болезни моей, — пишет он поэту Языкову, — ход естественный; она есть истощение сил. Век мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец мой также сложения слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих... Я худею теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии. Ни искусство докторов, ни какая бы то ни было помощь, даже со стороны климата и прочего, не могут сделать ничего, и я не жду от них помощи».

В таком состоянии Гоголь сжег все написанные им главы второго тома «Мертвых душ». Объясняя потом этот свой поступок, он говорил: «Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с таким болезненным напряжением, где всякая строка досталась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние

листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным... Бывает время, что вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен... Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое — душа, и прочное дело жизни».

Из этого признания Гоголя видно, что под влиянием развивающейся болезни он перестает видеть в себе художника, правдиво воспроизводящего окружающую его жизнь, а начинает считать себя проповедником, призванным учить людей истине и добру.

Летом 1845 года Гоголь проходил курс лечения в Карловых Варах в Чехии, а в августе отправился в город Прагу. Интерес к культуре братского славянского народа не ослабевает у Гоголя и в это время. В Праге он посещает Чешский национальный музей. Заведывавший тогда музеем известный деятель славянского освобождения Вацлав Ганка тепло приветствовал русского писателя.

— Ваши сочинения, — сказал он Гоголю, — составляют украшение славянских литератур.

— Оставьте, оставьте, — недовольно ответил Гоголь. Ему теперь было неприятно всякое упоминание о его прежних произведениях.

Уходя из музея, Гоголь дружески написал в альбом Ганке следующие строки: «Гоголь желает здесь Вечеславу Вечеславичу еще сорок шесть лет ровно, для пополнения 100 лет, здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех Русских, к нему заезжающих, как ныне». (Во время встречи с Гоголем Ганке исполнилось 54 года.)

В октябре Гоголь вернулся в Рим. Лечение помогло мало. Несмотря на тяжелое физическое состояние, Гоголь решил приступить к работе над новой книгой, которая дала бы ему возможность прямо обратиться к читателям с наставлением, как им следует жить. Образцом для него могла послужить книга Сильвио Пеллико «Обязанности человека», широко распространенная тогда в Италии. Сильвио Пеллико был одним из крупнейших писателей «Молодой Италии». За свою деятельность он был заключен австрийскими властями в тюрьму, где продолжал писать патристические произведения, направленные против немецкого засилия в стране. Сильвио Пеллико в своей книге не обличал пороки, не приказывал исправиться, — он просил читателей

принять во внимание обязанности, которые встречаются человеку на его жизненном пути, и исполнять их, как свой естественный долг.

Вот эту увещательную манеру и принял Гоголь за свой образец и, пользуясь им, создал свою книгу: «Выбранные места из переписки с друзьями».

«Я доставил книгу,—говорит сам Гоголь,— взвешивая потребности современного жаждущего общества и многого того, что покамест не видно поверхностным людям».

Вся книга написана в форме писем к друзьям. Каждое «письмо» касается важнейших жизненных вопросов — от домашнего быта до государственного устройства. Письма адресованы представителям всех общественных групп населения: чиновникам, помещикам, светским дамам, домашним хозяйкам, работникам искусства и другим, — всем им Гоголь давал в письмах советы, как устранить недостатки русской жизни, «страхи и ужасы России», по его собственному выражению.

Гоголь был уверен, что по его советам помещики немедленно превратятся в настоящих отцов для своих крепостных, а те — в любящих и послушных детей; чиновники не только исправятся сами, но и будут перевоспитывать своих подчиненных, — словом, без уничтожения крепостного права и при самодержавном режиме, сам собою водворится идеальный порядок на русской земле, наступит всеобщее благополучие. Поэтому Гоголь в своей новой

книге называл «мудрым» существующий «законный» порядок вещей и предлагал не только не бороться с ним, но всячески стараться сохранить его.

Работая над «Перепиской с друзьями», Гоголь, по его собственному признанию, «весь ушел в себя». Он перечитывал книги духовно-нравственного содержания: сочинения Дмитрия Ростовского, Лазаря Барановича, Стефана Яворского. Журнал «Христианское чтение» не сходил с его письменного стола.

К лету 1846 года книга «Выбранные места из переписки с друзьями» была готова. Гоголь отослал рукопись в Петербург с письмом своему другу Плетневу: «Все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги... Она нужна, слишком нужна всем... Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображению, впоследствии немедленно: эта книга разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга».

Накануне нового, 1847 года книга вышла из печати, но прием, оказанный ей русским обществом, был совершенно неожиданным для Гоголя.



Оторванный от родины, не видя, что делается в России, создавший в своем уединении утопическую идею «перевоспитания» людей

путем преподнесения им соответствующих советов, Гоголь прежде всего был разочарован тем, что цензура жестоко искромсала даже эту его книгу. «Самые важные письма, — негодовал он, — которые должны составить существенную часть книги, не вошли в нее, — письма, которые были направлены именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу государю и всем моим соотечественникам».

Он даже наивно объясняет цензурную операцию, совершенную над его книгой, простой «бестолковщиной». Он думает, что это только недоразумение, которое сейчас же разрешится, если показать рукопись царю. Ведь Гоголь желает только добра всем русским людям!

Он просит своих друзей в Петербурге представить запрещенные места «на суд государю». Но получает от Плетнева такой ответ: «О предоставлении государю переписанной вполне книги твоей теперь и думать нельзя. Иначе, какими глазами я встречу наследника (царского сына, будущего императора Александра II. — *Н. В.*), когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я, как будто в насмешку ему, полезу далее. Да и кто знает, не показывал ли он этого государю, который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя сказать, что я от него слышал».

Уже одно это обстоятельство должно было дать понять Гоголю, как далеки его наивные мечты от действительности!

Но, так или иначе, книга была напечатана. И тогда Гоголю пришлось выслушать тяжелые и справедливые упреки людей, которым дорога была прежняя слава Гоголя и которых он знал как истинных патриотов, всегда желавших блага своей родине.

Первый упрек он получил от С. Т. Аксакова, писавшего ему тотчас по выходе книги: «Друг мой!.. вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и бога и человека».

Так же резки были и другие отзывы. Но особенно сильно подействовала на Гоголя статья Белинского, напечатанная в журнале «Современник». Белинский по цензурным условиям не мог говорить всего прямо, он не мог сказать, что книга Гоголя защищает крепостное право и царское самодержавие, но сдержанно негодующий тон его статьи и обильные выписки из самой книги, свидетельствовавшие об этом, показали Гоголю, до каких вещей он договорился, живя в своем одиночестве.

Все это не могло не потрясти Гоголя. «Появление книги моей, — с болью вырывается у него, — разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее».

Гоголь послал письмо Белинскому, чтобы объяснить, зачем он писал книгу. «Я думал, — писал Гоголь, — что в моей книге зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в другом виде».

Это письмо Белинский получил за границей, где лечился тогда от туберкулеза. Прочитав письмо, Белинский вспыхнул от гнева.

— А! — воскликнул он. — Гоголь не понимает, за что люди на него сердятся! Надо ему растолковать это. Я буду ему отвечать.

В тот же день Белинский принялся за ответное письмо к Гоголю, которое В. И. Ленин называл впоследствии «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору»<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Соч., т. XVII, стр. 341, изд. 3-е.



«Вы только отчасти правы, — писал Белинский, — увидав в статье **рассерженного** человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги». И далее продолжает: «вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего **прекрасного далека**; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому что в этом **прекрасном далеке** вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками:

Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия... И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно воздействовал самосознанию России, давшей ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше... И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки...» И в заключение письма Белинский обратился со страстным призывом к Гоголю: «...если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее

издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние».

Какое впечатление произвело на Гоголя это благородное, дышащее истинной любовью к родине письмо Белинского, видно из его собственных слов: «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено». Удар, полученный им, был слишком силен. Летом 1847 года Гоголь пишет Аксакову: «Душа моя уныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась».

В этом состоянии потери душевного равновесия Гоголь судорожно ищет успокоения в религии. Он решает ехать в Иерусалим, чтобы после этого вернуться наконец навсегда на родину.

Маленький пароход «Капри», на котором Гоголь выехал из Неаполя, сразу же попал в шторм. Качало до такой степени, что Гоголь, по его собственным словам, «всякие десять минут походил скорее на умирающего, чем на сохраняющего в себе залог жизни». Так продолжалось до Мальты. Но и на этом острове Гоголь не смог отдохнуть. Мебель в плохонькой гостинице оказалась «простоты гомеровской», а язык, на котором пришлось объясняться Гоголю, «нивесть какой. Английского почти даже и не слышно».

С Мальты Гоголь на другом пароходе доехал до Константинополя, а там пересел на

третий пароход «Махмудиэ», шедший к берегам Смирны, где предстояла последняя пересадка на пароход «Истамбул», отправлявшийся в Бейрут.

На «Истамбуле» было много пассажиров, главным образом паломников, ехавших молиться к «гробу господню». Среди представителей всех наций на пароходе оказалось немало русских, которые быстро перезнакомились друг с другом. Каково же было их удивление, когда они узнали, что ехавший с ними пассажир невысокого роста, с длинным тонким носом, с волосами, причесанными, как у художников, с итальянским плащом на плечах и в черной шляпе с большими полями — не кто иной, как знаменитый писатель Гоголь, произведениями которого зачитывалась вся Россия.

Всю дорогу Гоголь избегал общества, мало говорил, ни на что не глядел и, когда пароход остановился у острова Родос, отказался поехать с другими путешественниками на берег, чтобы осмотреть город с его историческими постройками.

В Бейруте Гоголь сошел на берег и по суше продолжал путь до Иерусалима. Настроение его было таким смятенным, что он почти не замечал мест, по которым приходилось ехать. «Видал я, — говорит он, — как во сне эту землю. Поднимаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей, в сопровождении и пеших и кон-

ных провожатых; гусем шел поезд через малую пустыню по морскому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень — колодезь, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, а медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима».

В Иерусалиме Гоголь думал забыться, молитвой заглушить мучительную боль, не оставлявшую его последнее время. Он чувствовал себя раненым насмерть.

Однако забвенье не приходило. Сердцем и мыслями он был в России. Как-то в Назарете, застигнутый дождем, он просидел два дня, и ему все казалось, что он сидит где-то в России на станции. В сущности, ему уже стало очевидно, что путешествие в Иерусалим было совершенно напрасным. Но он не решался признаться себе в этом.

Теперь он думал только об одном: поскорее и навсегда вернуться на родину.

## КОНЕЦ ЖИЗНИ

В апреле 1848 года Гоголь на пароходе прибыл в Одессу. Оттуда он направился в свою родную Васильевку, где прожил некоторое время. Из Васильевки он выехал в Петербург. Гоголь старается внимательно присмотреться к тому, что делается на родине. Его интересует новая русская литература. В Петербурге он просит своего знакомого А. А. Комарова познакомить его с молодыми писателями: Гончаровым, Григоровичем и Некрасовым.

Встреча произошла в квартире Комарова. С величайшим нетерпением все ждали приезда Гоголя. Приглашенные писатели благоговели перед автором «Ревизора» и «Мертвых душ». Но Гоголь запаздывал, и пришлось сесть к чайному столу без него.

Наконец в половине одиннадцатого Гоголь приехал. Он отказался от чая, сказав, что никогда его не пьет, и стал здороваться со знакомыми. Комаров представил ему Гончарова, Григоровича и Некрасова. Гоголь оживился и стал говорить с каждым из них об их произведениях. Потом он заговорил о себе и невольно перешел к последней своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Видно было, что этот вопрос особенно волновал его. Словно оправдываясь, он говорил, что писал книгу в болезненном состоянии, что ее не следовало издавать, что он очень жалеет о том, что она издана.

После чая гостям был предложен ужин. Но Гоголь отказался и от ужина.

— Чем же вас угощать, Николай Васильевич? — спросил огорченный хозяин.

— Ничем, — ответил Гоголь. — Впрочем, — добавил он, видимо не желая обижать радушного хозяина, — дайте мне, пожалуй, рюмку малаги.

Но малаги как раз в доме не оказалось. Комаров немедленно послал за ней, хотя Гоголь объявил, что чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас принесут малагу, — сказал Комаров, — погодите немного. — Ему, как и всем присутствующим, не хотелось отпускать Гоголя так скоро.

— Нет, уж мне не хочется, — ответил Гоголь, — да к тому же поздно.

Но Комаров настоял на своем. Через полчаса принесли малагу. Гоголь нехотя налил себе полрюмки, выпил, затем взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы остаться. Видно было, что он в самом деле был нездоров.

Из Петербурга Гоголь уехал в Москву, где снова остановился в доме Погодина. Беспокойство не оставляло его. Он повторяет, что «Москва уединенна, покойна и благоприятна занятиям», но из попытки заняться работой ничего не получается. Он сознает это, хотя надеется, что такое состояние будет продолжаться недолго; ему кажется, что «душа

кое-что тует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени», когда он снова вернется к творческому труду.

Зима прошла в тщетных попытках взяться за работу. Отчаяние охватывает Гоголя. «Не могу понять, — признается он, — отчего не пишется и не хочется говорить ни о чем. Та же недвижность и в моих литературных занятиях. Я ничего не издал в свет и ничего не готовлю; что ни приготовлено, то идет медленно и не может никак выйти скоро. Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять».

Лето 1849 года Гоголь провел в разъездах по России, пока наконец не остановился в Калуге погостить у А. О. Смирновой. Там он встретился с поэтом А. К. Толстым, которого очень любил. А. К. Толстой работал тогда над историческим романом «Князь Серебряный» и воспользовался случаем прочесть отрывки из него Гоголю. Кроме того, поэт читал свои стихи и сцены из драматической трилогии. Гоголь оживился, его словно заразило чужое вдохновение, и он сам выразил желание прочесть кое-что из вновь написанного им за последние годы для второго тома «Мертвых душ».

Успех чтения был полный. Слушатели шумно выражали свое восхищение. Но Гоголь казался недовольным.

— Еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее, — сказал он.



Тем, кто слышал это чтение Гоголя, особенно запомнилась сцена примирения Тентетниковва с генералом Бетрищевым. Разговор между этими двумя героями второго тома «Мертвых душ» зашел о событиях 1812 года. Тентетников с жаром говорил, что весь народ встал, как один человек, в защиту отечества, что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, каждый спешил отдать последнее свое достоинство и жертвовал всем для спасения общего дела. Тентетников говорил долго, с увлечением. Бетрищев слушал его, и вдруг слеза повисла на седых усах генерала. Улынька, дочь генерала, вся впилилась глазами в Тентетникова—она ловила с жадностью каждое его слово. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы... Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание. «Да, — сказал он, — страшные холода были в 12-м году!» — «Не о холодах тут речь», заметил генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился. Генерал протянул руку Тентетникову и дружески благодарил его.

Эта сцена так понравилась слушателям, что они стали уверять Гоголя, что не надо выбрасывать из нее ни одного слова, не надо прибавлять ни одной черты: так все уже обработано и отделано.

Но Гоголь был неумолимо строг и требователен к себе как художник. Он тут же рас-

сказал, как он пишет и какой способ писать считает лучшим.

— Сначала, — сказал он, — нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом просмотре ее новые заметки на полях, и где нехватит места, взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепешите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего, или хоть пишите другое. Придет час: вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите перечитайте, поправьте тем же способом и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз как бы крепчает и ваша рука; буквы становятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю

восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне художнически законченным.

Разговор продолжался о литературе. Гоголь говорил о русских журналах, о русских новостях, о русских поэтах. О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова он отзывался с большою похвалою.

— Это все явления утешительные для будущего, — говорил он. — Наша литература в последнее время сделала крутой поворот и попала на настоящую дорогу. Только стихотворцы наши хромают, и времена Пушкина, Баратынского и Языкова возвратиться не могут.



В августе Гоголь, вернувшись из Калуги, побывал в подмосковном имении Аксаковых — Абрамцеве. Там он также читал главы из второго тома «Мертвых душ». Казалось, Гоголь преодолевает свое тягостное состояние последних лет и возвращается на тот светлый творческий путь, на который звал его Белинский.

В декабре 1849 года Гоголь присутствовал в доме Погодина на чтении комедии Островского «Свои люди — сочтемся». Гоголь в это время уже жил на Никитском бульваре, в доме, где в настоящее время висит мемориальная доска. Гоголь несколько запоздал, вошел в зал, когда чтение уже началось,

остановился у двери и молча простоял до конца чтения.

После чтения, отвечая на настойчивые вопросы, он высказал свое мнение.

— Хорошо, — ответил Гоголь, — но видна некоторая неопытность в приемах. Вот этот акт нужно бы подлиннее, а этот — покороче. Эти законы узнаются после, и в непреложность их не сейчас начинаешь верить.

Молодой Островский внимательно прислушивался к каждому слову великого писателя. Но Гоголь больше ничего не сказал. Позднее он всегда говорил, что ценит высоко талант Островского и считает его между московскими писателями самым талантливым.

Зиму 1849/50 года Гоголь прожил в Москве. А потом опять отправился странствовать по России, «от монастыря к монастырю». Это ему было нужно, как говорил он сам А. К. Толстому, «во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом».

Путешествие это затянулось надолго. Только глубокой осенью приехал Гоголь в Одессу, где и решил остаться на следующую зиму.



Дом в Москве, на Никитском бульваре, где умер Гоголь.

В Одессе Гоголь особенно охотно бывал в театре и перезнакомился там со всеми актерами.

— Любите ли вы искусство? — спросил как-то Гоголь актера А. П. Толченова.

— Если бы я не любил искусства, — ответил тот, — то пошел бы по другой дороге. Да во всяком случае, Николай Васильевич, если бы я даже не любил искусства, то на-верное вам в этом не признался бы.

— Хорошо вы делаете, — сказал Гоголь, — что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто любит его. Искусство требует всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер должны вполне, безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в нем что-нибудь... Поверьте, гораздо благороднее быть дельным ремесленником, чем лезть в артисты, не любя искусства.

Весной 1851 года Гоголь в последний раз поехал к матери и сестрам в Васильевку. Но обычная беззаботная веселость, которая овладевала им в местах, где протекло его детство, теперь к нему не возвращалась.

«Часто, — рассказывает его сестра Ольга Васильевна, — приходя звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печальное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко исписанных листов, валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями; когда ему не писалось, он обыкно-

венно царапал пером различные фигуры, но чаще всего — какие-то церкви и колокольни. Прежде, бывало, приезжая в деревню, братец непременно затевал что-нибудь в хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых, начнет садить дуб, ясень, берест; часто он изменял расписание рабочего времени для крепостных, пробовал их пищу, помогал им устраивать свое хозяйство, давая им советы. А теперь все это отошло в прошлое: братец все это забросил, и когда маменька жаловалась ему на бездоходность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религиозные темы».

Гоголь торопился уехать из Васильевки. Даже просьбы матери пожить дома подольше не удержали его. Через несколько дней он был уже по пути в Москву, но по дороге заехал навестить А. О. Смирнову, жившую тогда на даче под Москвой. Смирнова была в это время тяжело больна, а Гоголь также не переставал думать о своей болезни и смерти. Вместе с больной Смирновой Гоголь переехал в Москву.

В конце 1851 года в Москву приехал И. С. Тургенев. Через общего их друга, великого русского актера Щепкина, удалось устроить встречу двух писателей. Предварительно Щепкин отправился к Гоголю, жившему тогда опять на Никитском бульваре, и застал его за чтением церковных книг.

— Что это вы делаете? — спросил Щепкин. — К чему эти книги читаете?

Гоголь нахмурился. Переменив разговор, Щепкин сказал:

— С вами, Николай Васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам.

— Кто же это такой?

— Да человек довольно известный; вы, вероятно, слышали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев.

Услышав эту фамилию, Гоголь оживился, сказал, что душевно рад, и просил на другой же день привезти к нему Тургенева.

В час дня Щепкин и Тургенев приехали к Гоголю. Комната Гоголя находилась возле сеней направо. Когда гости вошли, Гоголь стоял перед конторкой с пером в руке. Он был одет в теплое пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны.

Гоголь пожал руку Тургеневу и сказал:

— Нам давно следовало быть знакомыми.

Все сели: Тургенев — рядом с Гоголем на широком диване, Щепкин — против них на кресле. Тургенев внимательно вглядывался в Гоголя. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; лоб был высок, гладок и бел. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость, но чаще всего взгляд Гоголя казался усталым.



Тургенев в свои студенческие годы слушал лекции Гоголя в университете, и теперь ему казалось, что в осанке и телодвижениях Гоголя есть что-то учительское, напоминающее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и болезненное существо!» — так передает Тургенев свои тогдашние мысли.

Гоголь говорил много, оживленно, размеренно, отчеканивая каждое слово. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям. При этом он высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы художника. Тургенев с восхищением вслушивался в оригинальный, меткий язык Гоголя.

Наконец Гоголь перешел к тому вопросу, ради которого он и поспешил позвать к себе Тургенева. Незадолго до их встречи в одном заграничном издании появилась статья Герцена, в которой Герцен также упрекал Гоголя за его «Выбранные места из переписки с друзьями». Эту книгу Герцен назвал отступнической. Теперь Гоголь сам заговорил об этой статье.

Гоголь начал уверять Тургенева внезапно изменившимся тоном, словно беспокоясь и торопясь, что не понимает, почему в его прежних сочинениях находят что-то такое, чему он изменил впоследствии, и в доказательство того готов сам указать на некото-

рые места в одной своей давно напечатанной книге.

Проговорив это, Гоголь почти с юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Щепкин шепнул Тургенезу:

— Никогда таким его не видел.

Через минуту Гоголь вернулся с томиком своих сочинений и начал читать некоторые страницы.

— Вот видите, — твердил он, — я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь... С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве?..

Тургенева он не убедил, и тот возможно мягче сказал ему это.

— Правда, и я во многом виноват, — опять как-то робко заговорил Гоголь, — виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее.

И снова стал говорить об искусстве, о театрах; заявил, что остался не доволен игрой актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли», сказал, что готов даже сам прочитать им всю пьесу от начала до конца. Щепкин тотчас же ухватился за это предложение и договорился с Гоголем, где и когда он будет читать.

Через несколько дней состоялось чтение Гоголем «Ревизора» для актеров Малого театра

в Москве. Присутствовавший на чтении Тургенев с восхищением рассказывал потом:

— С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу го-родничего о двух крысах: «Пришли, понюхали и пошли прочь!» Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще скверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей рассмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор».

\* \* \*

В начале 1852 года к графу Толстому, в доме которого продолжал жить Гоголь, приехал ржевский священник Матвей Константиновский. Это был религиозный фанатик, мрачный и красноречивый.

Теперь этот человек, уже ранее переписывавшийся с Гоголем по поводу первого тома «Мертвых душ» и «Переписки», сделался духовником Гоголя. Разум и воля Гоголя были в это время надломлены тяжелой, все прогрессировавшей болезнью. Матвей Константиновский предал анафеме все, чему раньше служил, перед чем преклонялся Гоголь. Зная, например, что Пушкин был для Гоголя воплощением всего самого светлого, солнечно-прекрасного и разумного в жизни, Матвей Константиновский категорически приказал:

— Отрекись от Пушкина. Он был грешник и язычник.

Но как ни была сломлена воля Гоголя, он отказался выполнить этот приказ фанатика. В течение многих недель продолжалась борьба больного Гоголя с иступленным его духовником. Матвей Константиновский так и уехал, не добившись «отречения» Гоголя, но зато ему удалось смертельно запугать Гоголя-писателя картинами ужасов загробной жизни, якобы ожидающих его за его литературную деятельность.

С этого времени Гоголь бросил всякую творческую работу; он стал морить себя голодом, сократил время сна, надламывая тем самым свои последние силы.

Друзья Гоголя долгое время не понимали, что с ним происходит. Знали только, что он чем-то болен, что эта болезнь выражается главным образом в общей слабости, постепенном истощении организма и в подавленном состоянии духа.

Наконец Гоголь совсем перестал есть, а по ночам, отгоняя сон, стоял и молился. По Москве распространились тревожные слухи, что Гоголь умирает. В ночь с 8 на 9 февраля 1852 года Гоголь, изнеможенный, уснул на диване. Проснувшись, он ужаснулся, что впал в такой грех, и немедленно послал за приходским священником. Напрасно тот пытался успокоить Гоголя. С этой минуты мысль о смерти безраздельно овладела им. Через три дня, 11 февраля, он призывал к себе своего квартирохозяина, графа Толстого, и просил его

взять к себе уже готовые рукописи, чтобы после его, Гоголя, смерти их напечатать. Но Толстой отказался принять рукописи: он побоялся, что, сделав это, покажет больному, насколько безнадежно его положение.

Наступила ночь. Гоголь долго молился один в своей комнате. В три часа утра, когда в доме все спали, он разбудил своего служителя и спросил, тепло ли в другой комнате — в спальне.

— Свежо, — ответил тот.

— Дай мне плащ, — сказал Гоголь, — пойдем, мне нужно там распорядиться. — И он пошел в спальню со свечой в руках.

Войдя, Гоголь приказал открыть трубу как можно тише, чтобы никого не разбудить. Потом взял из шкафа портфель, вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесьмой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Служитель Гоголя, догадавшись, упал перед ним на колени и стал говорить:

— Барин, что это вы? Перестаньте!

— Не твоё дело, — тихо ответил Гоголь, — молись!

Между тем огонь стал гаснуть после того, как обгорели края тетрадок, плотно связанных друг с другом. Заметив это, Гоголь вынул всю связку из печки, развязал тесемку и стал бросать листы бумаги так, чтобы огонь легко охватывал их. Когда все рукописи сгорели, Гоголь перекрестился, вернулся в первую комнату, лег на диван и заплакал.

Весть о сожжении бумаг Гоголем быстро распространилась по Москве. Второй том «Мертвых душ», о котором столько говорилось за последние десять лет, с работой над которым так тесно была связана жизнь самого Гоголя, был уничтожен вторично и навсегда. (Только отрывки из него дошли до нас.) Но люди, издавшие Гоголя в эти дни, поняли, что он не переживет этой утраты. Действительно, с этой ночи он уже не вставал с постели. 21 февраля старого стиля в 8 часов утра он скончался.

Тело Гоголя, положенное в гроб, было поставлено в комнате, где он провел последние месяцы своей жизни. Но эта комната не вмещала огромного числа посетителей, приходивших поклониться праху великого писателя. На следующий день вечером, по просьбе попечителя Московского университета, тело Гоголя было перенесено в университетскую церковь (Гоголь был почетным членом Московского университета). Тело вынесли на своих руках студенты, профессора и писатели; среди них был и А. Н. Островский.

Стечение народа в продолжение двух дней, пока был открыт доступ к телу, было настолько велико, что пришлось закрыть движение по Никитской улице.

Похороны происходили в воскресенье, 24 февраля. На улице студенты подхватили гроб и понесли его. За гробом шла огромная толпа.

Сохранился рассказ, что кто-то из проходивших спросил:

— Кого это хоронят? И неужели все, идущие за гробом, родственники покойника?

Ему отвечали:

— Хоронят Гоголя, а родственников у него — вся Россия!

«Гоголь умер, — писал И. С. Тургенев в газете «Московские ведомости», — какую русскую душу не потрясут эти два слова? Да, он умер, этот человек, которого мы имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей литературы, которым мы гордимся, как одной из слав наших».

Царское правительство было испугано такой небывалой демонстрацией народной любви к писателю, чьи произведения обличали дикий произвол и крепостнические порядки николаевского режима. Немедленно было приостановлено печатание сочинений Гоголя, Тургенев за свою статью был арестован. Правительство Николая I желало бы, чтобы Россия запомнила Гоголя «Переписки», а не Гоголя «Тараса Бульбы», «Ревизора» и «Мертвых душ».

Но добиться этого ни Николай I, ни его приспешники не были властны. Ничто не могло изгладить из памяти русского народа великого писателя Гоголя и умалить великое значение его произведений. Через три года

после смерти Гоголя Н. Г. Чернышевский писал о нем: «Как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно; она неизмеримо выше почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества еще далеко не так велико, как влияние многих других писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».

Страстная, безмерная, самоотверженная любовь к родному народу, безграничная вера в его светлое будущее дала Гоголю силы для создания его великих творений.

Эта любовь к русскому народу двигала Гоголем, когда, обращаясь к историческому прошлому своей страны, он создавал бессмертные образы эпопеи «Тарас Бульба», произведения, способного встать в один ряд с эпосом всех времен и всех народов; она владела им и тогда, когда он писал жгучие страницы «Ревизора» и «Мертвых душ».

Идеи такого Гоголя великий Ленин сопоставлял с идеями Белинского и считал имя Гоголя дорогим «всякому порядочному человеку на Руси»<sup>1</sup>. Бессмертные образы, созданные Гоголем, не раз становились в выступлениях великого Сталина грозным оружием, разящим врагов нашего народа.

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Соч., т. XVI, стр. 132, изд. 3-е.



## **ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ Н. В. ГОГОЛЯ**

- 1809 г. — 1 апреля (нового стиля). В местечке Сорочинцы родился Н. В. Гоголь.
- 1818 г. — Гоголь поступает учиться в училище в Полтаве.
- 1820 г. — Гоголь переходит учиться в «Гимназию высших наук» князя Безбородко в Нежине.
- 1825 г. — Умер отец Гоголя — Василий Афанасьевич Гоголь.
- 1826—1827 гг. — Дело о «вольномудстве» среди нежинских учителей.
- 1828 г. — Гоголь окончил гимназию в Нежине. В декабре этого года Гоголь переезжает в Петербург.
- 1829 г. — Гоголь печатает поэму «Ганц Кюхельгартен». В том же году Гоголь первый раз едет за границу.
- 1830 г. — В «Отечественных записках» напечатан рассказ Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала».
- 1831 г. — Гоголь знакомится с Пушкиным и Жуковским. В том же году выходит из печати первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
- 1832 г. — Выходит вторая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
- 1834 г. — Гоголь начинает читать лекции по всеобщей истории в Петербургском университете.
- 1835 г. — Выходят из печати две книги Гоголя: «Миргород» и «Арабески». В этом же году появляется статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя».
- 1836 г. — В Петербурге поставлена комедия Гоголя «Ревизор». Отъезд Гоголя за границу после постановки «Ревизора».
- 1839 г. — Гоголь возвращается в Россию. Знакомство с Белинским.
- 1840 г. — Знакомство с Лермонтовым. Отъезд за границу.
- 1841 г. — Гоголь закончил первый том «Мертвых

душ» и приехал в Россию печатать свое новое произведение.

1842 г. — Первый том «Мертвых душ» выходит из печати. Гоголь снова уезжает за границу.

1843 г. — Выходит в свет собрание сочинений Гоголя в четырех томах.

1847 г. — Выходит из печати книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Белинский пишет письмо Гоголю по поводу его новой книги.

1848 г. — Гоголь возвращается на родину из-за границы.

1849 г. — Гоголь странствует по России.

1851 г. — Гоголь поселяется в Москве. Знакомство с И. С. Тургеневым.

1852 г. — 4 марта (нового стиля) Гоголь умер в Москве.

### **БИБЛИОГРАФИЯ**

О Гоголе существует обильная литература. Рекомендуем наиболее существенные работы:

В. Г. Белинский. Статьи о Гоголе. М.—Л., 1923 г.

Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. Избран. соч., т. IV. М., 1934 г.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Гоголь. Собрание сочинений Овсяннико-Куликовского, т. I.

С. А. Венгеров. Писатель-гражданин. Собрание сочинений Венгерова, т. II. СПб., 1913 г.

Н. Котляревский. Гоголь. СПб., 1915 г.

В. В. Гиппиус. Гоголь. Л., 1924 г.

В. А. Десницкий. Сборник «На литературные темы», т. II. Л., 1937 г.

В. В. Виноградов. Этюды о стиле Гоголя. Л., 1926 г.

А. Л. Слонимский. Техника комического у Гоголя. П., 1923 г.

В. В. Вересаев. Гоголь в жизни. Несколько изданий.

Цена 2 руб.

